

**ИЗ КОММЕНТАРИЯ К РЕЦЕНЗИИ Н. М. КАРАМЗИНА НА РОМАН
М. М. ХЕРАСКОВА “КАДМ И ГАРМОНИЯ”**

© 2018 г. Д. П. ИВИНСКИЙ

Доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы
филологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Россия, 119991, Москва, Ленинские Горы, ГСП-1
dmitrij_ivinskij@mail.ru

Дата поступления материала в редакцию 10 октября 2017 г.

**FROM THE COMMENTARY TO N. KARAMZIN'S REVIEW
OF M. KHERASKOV'S NOVEL “CADMUS AND HARMONY”**

© 2018 Dmitrij P. Ivinskij

Doctor of Philological Sciences, Professor at the Department of History of Russian Literature of Philological Faculty
of M.V. Lomonosov Moscow State University (MSU), Leninskie gory, GSP-1, Moscow 119991, Russia
dmitrij_ivinskij@mail.ru

Received by Editor on October 10, 2017

В статье рассмотрена литературная стратегия Карамзина после его возвращения из путешествия по Европе. Херасков занял в ней особое место: он не только смягчил наметившийся конфликт Карамзина с кружком московских масонов, но и стал деятельным участником его изданий. В рецензии на роман “Кадм и Гармония” Карамзин стремился оформить союзнические отношения с Херасковым на основе своей новой литературно-эстетической программы, которая позволяла рассматривать столь значимую для масонского круга тему “внутреннего человека” не столько в контексте эзотерической литературы “для посвященных”, сколько в рамках “изящной словесности”, связанной с этой литературой, но не растворяющейся в ней и обладающей собственными возможностями.

In the article, the literary strategy of Karamzin after his return from the journey through Europe is considered. Kheraskov occupied a special place in it: he not only supported Karamzin in the emerging conflict with a circle of Moscow freemasons, but also became an active participant in his publications. In a review of the novel “Cadmus and Harmony”, Karamzin sought to formalize allied relations with Kheraskov on the basis of his new literary and aesthetic program, which allowed to consider the topic of the “inner man” so important for the Masonic circle, not so much in the context of esoteric literature “for the initiated” as in the framework of “elegant literature” related to this literature, but not dissolving in it and possessing its own capabilities.

Ключевые слова: Н.М. Карамзин, М.М. Херасков, Г.Р. Державин, Н.И. Новиков, А. Поуп, Дж. Драйден, Ф. Фенелон, “Московский журнал”.

Key words: N.M. Karamzin, M.M. Kheraskov, G.R. Derzhavin, N.I. Novikov, A. Pope, Jh. Dryden, F. Fenelon, “The Moscow Journal”.

Один из наиболее распространенных типов журнальной рецензии времен Карамзина, Жуковского и Пушкина выглядит так: обширные выписки из рецензируемого сочинения сопровождаются краткими и обычно не стремящимися исчерпать имеющийся материал библиографическими справками, столь же краткими замечаниями аналитического или оценочного характера,

иногда ссылками на мнения древних и новых поэтов, знатоков, единомышленников или противников автора и упоминаниями других его произведений. Такие рецензии в позднейшие времена могли восприниматься как “пустые”, сводящиеся преимущественно к информированию читателей о выходе такой-то книги, представлению ее текста и демонстрации литературно-идеологической

позиции автора или рецензента. Между тем, по крайней мере если речь идет о литературных критиках (или поэтах, выступающих в этой роли), претендующих на серьезное влияние и при этом обладающих вкусом, необходимыми познаниями и склонностью создавать сложные подтексты, подобное прочтение их литературно-критических выступлений во многих случаях оказывается недостаточным и даже неверным или наивным — и сразу по нескольким причинам. Первая: они адресуют свои тексты столь же изощренным знакам, как они сами, и исходят из того, что данная читательская группа не нуждается в подробных разъяснениях, поскольку привыкла “разгадывать” нетривиальные историко-литературные построения, умеет читать “между строк” и всегда внимательна к деталям; прочие читательские группы для подобного рода авторов представляют интерес в двух отношениях: ими можно манипулировать, чтобы оказать воздействие на власть, на общественное мнение в целом, на его отдельные сегменты; эти группы можно вовлекать в пространство интеллектуальных игр, распространяющихся не обязательно только на литературу, но и на идеологию, политику, историю и при этом различных по длительности, конечному целеполаганию, сложности. Вторая: любая подборка цитат всегда двусмысленна в том отношении, что она характеризует не только автора произведения, из которого они выхватываются, но и того, кто их выхватывает, а сей последний, при наличии соответствующих навыков, без особого труда превращает цитирование в способ непрямолинейного выражения собственной точки зрения. Третья: смысл цитатной конструкции уточняется не только за счет ее соотнесенности в пределах рецензии с оформляющим ее авторским словом, но и за счет включенности в целое конструкции того номера журнала, в котором она печатается (в пределах — и всех вышедших и даже последующих, если их содержание уже известно). Четвертая: автор такой рецензии, если он стремится оказать серьезное влияние на литературное пространство, никогда не “раскрывается” до конца, понимая, что для этого предназначены иные, более серьезные жанры, и учитывая особенности момента, соизмеряя тактику и стратегию и т.д.

Соответствующим образом, для того чтобы всерьез обсуждать один такой текст, в т.ч. рецензию Карамзина на роман Хераскова “Кадм и Гармония”, которая нас здесь занимает, невозможно обсуждать *только* ее, поскольку ее смысл оказывается точкой пересечения многих и разных, но всегда взаимосвязанных культурных

контекстов и опирающихся на них механизмов смыслопорождения.

* * *

После возвращения Карамзина из путешествия по Европе центральной фигурой в его литературном окружении оказался Херасков. При всем значении не только литературных, но и дружеских связей с И.И. Дмитриевым, при всем значении знакомства с Г.Р. Державиным, именно Херасков стал для него необходимым союзником, сумевшим нейтрализовать многие негативные последствия того события, которое обычно называют “разрывом” Карамзина с московскими масонами.

На первый взгляд, это наше утверждение противоречит позиции, заявленной Карамзиным публично.

В самом деле, в газетном объявлении о скором выходе в свет “Московского журнала” было сделано краткое и предельно общее указание на круг литераторов-участников будущего издания, и только один из них был назван по имени: Державин, а не Херасков¹.

Этим Карамзин, как известно, не ограничился: бегло охарактеризовав тематику своего журнала, Карамзин заявил, что не намерен печатать “*только теологические, мистические, слишком ученые, педантические, сухие пьесы*” [1, с. 6].

Данная фраза, не раз обсуждавшаяся исследователями и отражавшая продуманную литературную позицию Карамзина, которую он не раз подтверждал², была воспринята частью москов-

¹“Первый наш поэт — нужно ли именовать его? — обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни. И другие поэты, известные почтенной публике, сообщили и будут сообщать мне свои сочинения. Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы, — который внимание свое посвящал натуре и человеку, преимущественно пред всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал, — намерен записки свои предложить почтенной публике в моем журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для читателей” [1, с. 6].

²Ср. в особенности в одной из заметок для раздела “Смесь” “Московских ведомостей” 1795 г.: “Двадцать лучших авторов соединились в Германии для издания Журнала, которого цель есть та, чтобы возвышать в сердцах людей *чувство добра и красоты*. Ни слова о политике, ни слова о схоластической метафизике! Все должно быть понятно, питательно для души, усеяно цветами Граций. — Такое периодическое сочинение есть важный феномен в Литературе. Объявление писано Шиллером, который после долговременной болезни снова является на сцене авторства” [2, № 7, с. 40]. В русском литературном контексте “Московский журнал” неизбежно

ских масонов как ничем с их стороны не спровоцированное заявление о прекращении сотрудничества с ними. Между тем именно они были культурной средой Хераскова, причем такой, которая воспринимала его как крупнейшего поэта современной русской литературы. Поэтому попытка дистанцироваться от этой среды могла означать и отдаление от него — или по крайней мере так восприниматься.

Но именно этого не произошло. Невзирая на недоуменные вопросы, доносившиеся из круга московских масонов³, Херасков, как ни в чем ни бывало, демонстрировал готовность участвовать во всех изданиях Карамзина, начиная с “Московского журнала”.

А Карамзин, вроде бы заявивший о союзе с Державиным как о своем стратегическом выборе, последовательно демонстрировал своим читателям иную позицию: “первому нашему поэту” Державину он отводил “почетное” второе место, а Хераскову первое.

Напомним, что именно одой Хераскова открылся “Московский журнал” [4], *после которой* было помещено “Видение Мурзы” Державина [5], и в том же номере Карамзин напечатал обширную рецензию на роман “Кадм и Гармония” [6]. Далее, если участие Хераскова в “Аглае” не стало слишком значительным, то в “Аонидах” именно он вновь выдвинулся на первый план: первая и вторая книжки “Аонид” открывались его пьесами [7]; [8], причем в первой на втором месте оказался В.В. Капнист, поэт, близкий к Державину [9], во второй сразу *после* Хераскова — по образцу первого номера “Московского журнала” — была напечатана ода Державина на новый год [10].

К этому необходимо прибавить письмо Карамзина к П.М. Хераскову от 13 мая 1795 г.,

осмыслялся как предшественник “Die Noren” (1795–1797), и издатель первого приветствовал появление второго, оставаясь на той же точке зрения, которая была им заявлена в ноябре 1790 г.: теперь, через пять лет, *лучшие авторы Германии*, соединившись в шиллеровском журнале, фактически подтвердили, разумеется не ведая того, правильность занятой им тогда позиции.

³ Видимо, вполне показательно реакция А.М. Кутузова, который в начале 1791 г. писал к Н.Н. Трубецкому, сводному брату Хераскова: «Я слышу, что любезный мой Карамзин произвел себя в авторы и издает журнал для просвещения нашего отечества. Признаюсь, что его “Объявление” поразило мое сердце, но не мало также удивился и тому, что М.<ихаил> Матв.<еевич> будет участвовать в том. Пожалуйста, скажите мне, что все сие значит, что молодой человек, сняв узду, намерен рыскать на поле пустыя славы? Сие больно мне, но не удивляет меня; но ежели муж важный и степенный одобряет такого юношу, сие приводит меня в изумление» [3, с. 70].

напечатанное М.Н. Лонгиновым, из которого видно, что отношения Карамзина с семейством Херасковых в это время оставались вполне сердечными [11, с. 587–588], и опубликованные В.Э. Вацура фрагменты писем Е.В. Херасковой к И.П. Тургеневу от февраля и марта 1795 г., в которых содержится апологетическая оценка личности Карамзина, часто бывавшего в это время у Херасковых [12, с. 37–38].

Если же одновременно принять правдоподобную догадку Н.Д. Кочетковой о том, что криптонимы “И. К*.” и “Сочинение Из. К**.”, которыми подписаны тексты, напечатанные в “Московском журнале” и давно атрибутированные Хераскову [13, т. 1, с. 173]; [14, с. 249], должны расшифровываться “И.<здатель> К.<адма>” и “Сочинение Из.<дателя> К.<адма>” [15, с. 182]; [16, с. 162–63], картина станет более чем выразительной: перед нами совершенно недвусмысленные свидетельства литературного союза, заключенного Карамзиным с Херасковым, причем на роль ключевого текста, вокруг которого этот союз выстраивался, выдвигается роман “Кадм и Гармония”, а вместе с тем особое значение приобретает карамзинская на него рецензия⁴.

Но для того чтобы уяснить ее смысл, нам придется вернуться к реакции московских масонов на карамзинское объявление. Из их переписки, напечатанной Я.Л. Барсковым [3], видно, что они крайне резко комментировали и объявление, и, в частности, фразу о нежелательности “сухих пьес”, и само намерение Карамзина издавать журнал, а вместе с тем высказывали разного

⁴ Не рассматриваем здесь вопрос о том, мыслился Карамзиным этот союз как тактический или стратегический, на какое время он был рассчитан, в какой мере Карамзин допускал соперничество с Херасковым в рамках этого союза с ним, претендовал ли он на роль его преемника в русской литературе и т.д. При всей важности этих вопросов, за отсутствием твердо установленных фактов они вряд ли могут быть разрешены в настоящее время. Отметим только, что выбор между Карамзиным и Херасковым для современников отнюдь не был очевидным; наиболее яркий пример тому дает известная речь Андрея Тургенева в “Дружеском литературном обществе” 1801 г., который признал, что Карамзин был “более вреден, нежели полезен нашей Литературе” и что “Херасков больше для нас сделал нежели Карамзин” [17, с. 29]. На другом полюсе культуры — литературное сознание поместного образованного дворянства, менее искушенного в деталях литературной жизни, менее образованного и, конечно, никак не связанного с московской масонской традицией, которому Херасков и Карамзин могли открываться как поэты одного “литературного ряда”; ср., напр.: «Сверх всякого ожидания бабушка Прасковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно: “Кадм и Гармония”, “Полидор, сын Кадма и Гармонии”, “Нума, или процветающий Рим”, “Мои безделки” и “Аониды” — и этим подарком много примирила меня с собой» [18, с. 325].

рода предположения о тех умственных и нравственных изменениях к худшему, которые должны были произойти с их недавним единомышленником во время его путешествия и которые с очевидностью — с их точки зрения — обнаружались в тот момент, когда он заявил об этом своем намерении.

Мы не знаем точно, что именно из их писем или отзывов о Карамзине, которые должны были звучать и в более или менее приватных беседах, сделалось ему известно, но во всяком случае не подлежит сомнению, что он не остался в неведении.

Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что основным источником его сведений об этом, помимо писем и приписок в письмах, ему адресованных, стало для него семейство Плещеевых, с которым он был тесно связан, и в первую очередь Н.И. Плещеева, к которой некоторые ее друзья из масонского круга писали, видимо, не без расчета на то, что она изложит Карамзину их точку зрения; напомним и том, что Карамзину пришлось выслушать ряд претензий от кн. Н.Н. Трубецкого, после чего их общение на некоторое время прервалось [3, с. 94].

Во всяком случае, предисловие Карамзина к первому номеру “Московского журнала” производит впечатление прямого — и вместе с тем внятного только лицам, осведомленным о его “разрыве” с масонами, — ответа на некоторые из тех претензий, которые вышли из их среды.

Сопоставим тексты.

17/28 декабря 1790 г. Кутузов в письме к А.А. Плещееву делает приписку для Карамзина: “При издании твоего журнала, шадя твоего друга, помни изречение аглинского же писателя: There are four good Mothers, of whom are often born four unhappy Daughters, Truth begets hatred, Happiness Pride, Security Danger, and Familiarity Contempt⁵. Прости, любезный друг, ожидаю с нетерпением, что ты мне скажешь” [3, с. 55]. В тот же день Кутузов пишет к Н.И. Плещеевой, вероятно догадываясь, что она не утаит от Карамзина это письмо: «Удивляюсь перемене нашего друга и признаюсь, что скоростижное его авторство, равно как план, так и его “Объявление” поразили меня горестью, ибо я люблю его сердечно. Вы знаете, я давно уже ожидал сего явления, — я говорю об авторстве, — но я ожидал сего в совершенно ином виде. <...> Ежели в нашем отечестве будут издаваться тысячи журналов, подобных Берлинскому и Виландову, то ни один россиянин не сделается от них лучшим, напротив того, — боюсь, чтобы

тысячи таких журналов не положили миллионов новых препятствий к достижению добродетели и к познанию самих себя и Бога» [3, с. 58]. Если оставить в стороне некоторые менее важные детали, то “горесть” Кутузова объясняется заботой о благе соотечественников, которому угрожают журналисты, способные воздвигнуть серьезные, возможно непреодолимые, препятствия на пути их нравственного развития; Карамзин мыслится как один из них. Так выясняется, что дело не только и даже не столько в разочарованиях личного характера, сколько в соображениях глубокого метафизического характера. И одновременно образ безрассудного Карамзина уточняется, обретая выразительные детали, свидетельствующие о том, что Кутузов избавился или избавляется от иллюзий насчет своего приятеля, претендующего на роль русского Виланда.

В “Предуведомлении” к “Московскому журналу” Карамзин демонстративно напоминает о своем объявлении и недвусмысленно подтверждает заявленную там позицию: “Читатель увидит в сей первой книжке творения тех Поэтов, о которых говорил я в объявлении; и впредь будет их видеть” [1, с. 5].

При этом впечатление прямого ответа на реплику Кутузова о препятствующих улучшению нравов “тысячах журналах, подобных Берлинскому и Виландову”, производит (а вполне вероятно, и является таковым) следующий пассаж: “Журнал выдавать не шутка — я знаю — однако ж чего не делает охота и прилежность? Множество иностранных Журналов лежит у меня перед глазами; ни одного из них не возьму я за точный образец, но всеми буду пользоваться” [1, с. 5].

С этой скрытой полемикой, впрочем не наступательной, а сугубо оборонительной, связан эпиграф из поэмы Александра Поупа “Опыт о человеке” (“Essay on Man”, 1734): “Pleasures are ever in our hands or eyes” (“Удовольствия всегда у нас в руках или перед глазами”). Эта поэма, дидактическая, моралистическая и мистическая, созданная одним из самых известных английских поэтов, высоко ценилась в кругу московских розенкрейцеров, была переиздана Новиковым в 1787 г. [20, т. 2, с. 448], и сам факт обращения Карамзина к ней не может считаться ни случайным, ни мнимым важным. Стих Поупа, выбранный Карамзиным, как всегда бывает в подобных случаях, вырван из контекста, и читатели, которые не помнили, о чем шла речь в поэме Поупа, или не читали ее, в принципе могли вообразить, что Карамзин, заявляя принцип поиска земных “удовольствий”, стремится указать на предшественника

⁵ Автор этого пассажа Ричард Стил (Steele) (1672–1729) [19].

и тем самым опереться на него. Те же читатели, которые читали и помнили эту поэму, оказывались в непрестом положении. Во-первых, карамзинская цитата из Поупа все же была слишком краткой и для ее понимания нужно было вспомнить стих, следующий за приведенным, а лучше несколько стихов, еще лучше всю вторую главу (“эпистолу”) поэмы или поэму целиком. Но вместе с тем и во-вторых, оставалось неясным, как именно содержание поэмы Поупа должно было соотноситься с содержанием “Московского журнала” и в какой мере Карамзин, заявив этим эпиграфом к своему журналу свою общую ориентацию на Поупа, действительно являлся его последователем, почитателем, интерпретатором. Разрешить загадку должно было, очевидно, внимательное знакомство с “Московским журналом”, в котором, однако, не было ничего, *прямо* указывавшего на Поупа как на основной и непосредственный источник вдохновения или идей; только публикация полного текста “Писем русского путешественника”, в который войдет описание прогулки Карамзина в “миловидную деревеньку” под Ричмондом, в которой жил и умер Поуп [21, т. 6, с. 335–337], раскроет, до некоторой степени, значимость его для Карамзина.

В нашем распоряжении только один источник, позволяющий судить о том, как именно Карамзин представлял себе тот минимально допустимый контекст поэмы Поупа, в котором строка об “удовольствиях” обретала свой подлинный смысл. Это альбом выписок, составленный им в 1811 г. для вел. кн. Екатерины Павловны. Здесь помещен следующий текст, составленный из фрагментов “Опыта о человеке” и включающий интересующий нас стих, за двадцать лет до того послуживший эпиграфом к “Московскому журналу”:

Стихотворец-философ

Self-love and reason to one end aspire, / Pain their aversion, pleasure their desire; / But greedy that its object would devour, / This taste the honey, and not wound the flow'r: / Pleasure, or wrong or rightly understood, / Our greatest evil, or our greatest good. // <...> // Love, hope, and joy, fair pleasure's smiling train, / Hate, fear, and grief, the family of pain, / These mix'd with art, and to due bounds confin'd, / Make and maintain the balance of the mind: / The lights and shades, whose well accorded strife / Gives all the strength and colour of our life. / Pleasures are ever in our hands or eyes, / And when in act they cease, in prospect, rise: / Present to grasp, and future still to find, / The whole employ of body and of mind. // <...> // Vice is a monster of so frightful mien, / As, to be hated, needs but to be seen; / Yet seen too oft, familiar with her face, / We first endure, then pity, then embrace... / <...> / Virtuous and vicious ev'ry man must be, / Few in th' extreme, but all in the degree; / The rogue and fool by fits is fair and wise; / And ev'n the best,

by fits, what they despise. / 'Tis but by parts we follow good or ill, / For, vice or virtue, self directs it still; / Each individual seeks a sev'ral goal; / But heav'n's great view is one, and that the whole: / That counterworks each folly and caprice; / That disappoints th' effect of ev'ry vice; / That, happy frailties to all ranks applied, / Shame to the virgin, to the matron pride, / Fear to the statesman, rashness to the chief, / To kings presumption, and to crowds belief, / That, virtue's ends from vanity can raise, / Which seeks no int'rest, no reward but praise; / And build on wants, and on defects of mind, / The joy, the peace, the glory of mankind. / <...> / Whate'er the passion, knowledge, fame, or pelf, / Not one will change his neighbour with himself. / The learn'd is happy nature to explore, / The fool is happy that he knows no more; / The rich is happy in the plenty giv'n, / The poor contents him with the care of heav'n. / See the blind beggar dance, the cripple sing, / The sot a hero, lunatic a king<.> // <...> // See some strange comfort ev'ry state attend, / And pride bestow'd on all, a common friend; / See some fit passion ev'ry age supply, / Hope travels through, nor quits us when we die. // <...> // Know all the good that individuals find, / Or God and Nature meant to mere Mankind, / Reason's whole pleasure all the joys of Sense, / Lie in three words, Health, Peace and Competence. / But Health consists with Temperance alone, / And Peace oh Virtue! Peace is all thy own. Pope. [22, с. 169–170]; ср.: [23, т. 2, с. 51, 52, 55–57, 74]⁶.

⁶В переводе Н.Н. Поповского, переизданном Новиковым, не всегда точном и не отличающимся лаконизмом, но дающим адекватное представление о проблематике поэмы (ср. апологетическую оценку перевода: [24, с. 168]), эти отрывки читаются следующим образом: “Любовь к самим себе в нас склонности раждает, / А ум стремления сердечны управляет. / Не лязя ни коего из них назвать худым, / Мы должны своего часть счастья обоим; / И та, и тот свой долг и свой конец имеет, / Та клонит, тот сердце движением владеет. / Что с каждым сходствует, то должно звать добром; / А что противно им, почесть достойно злом. // <...> // Желание, любовь, надежда и отрада, / Увеселения суть отрасли и чада; / Но подозрение, скорбь, ненависть и страх / Неудовольствием рождаются в сердцах. / Как будут меж собой все смешены пристойно, / И каждая стоять в своих пределах строино, / То мыслей никогда оне не возмутят, / Но больше их еще спокойно утверждают. / Как на картине свет, смешавшись купно с тенью, / Тем больше придает приятности виденью: / Там смесь пристойная воюющих страстей / И силы и красы придаст нам в жизни сей. / Приятности или мы держим уж руками, / Или едиными лишь видим их глазами? / Но ежели в руках их нет и нет в глазах, / То представляем их лишь в мысленных очах. / Бессмертная душа и бренно наше тело, / Имеют труд один, старание и дело. / Чтоб настоящую приятность удержать, / А к будущей пути и средства изобрать. // <...> // Грех есть чудовище, его толь гнусен вид, / Что ненависть к нему один взгляд возбудит; / Но естли на него кто несколько раз взглянет, / Тогда уже ему не столько гнусен станет, / Помалу сносен, вдруг и жалок нам сей льстец, / И другом мы его шитаем наконец. // <...> // Немного в свете есть, как вовсе беззаконных, / Так к добродетелям без отвращения склонных; / Но в каждом добрых есть поступок и худых, / И некоторую часть имеет обоих. / По случаю и злой быть может добродушен, / И глупой может быть рассуден и исправен. / И доброй человек то случаем творит, / За что другого он не скоро извинит. / Не вовсе зла бежим, и честность наблюдаем, / От части любим их, от части презираем. / Добро ли или зло, не любим или чтим, / Все только по одним лишь прибылям сво-

Разумеется, приведя здесь выборку из “Опыта о человеке”, сделанную Карамзиным не для своего литературного журнала, адресованного одновременно нескольким читательским группам, а для одного названного выше читателя, и не на рубеже 1790 и 1791 гг., а в 1811 г., мы вовсе не хотим сказать, что восприятие Карамзиным поэмы Поупа за двадцать лет не изменилось.

Но, во-первых, об этих изменениях мы почти ничего не знаем и можем лишь предполагать, в меру нашего понимания духовной биографии Карамзина, некоторую его эволюцию от религиозно-метафизического оптимизма Поупа (соображения о характере карамзинского восприятия этого оптимизма см.: [26]) к более хладнокровному взгляду на человеческую природу, при том что ниоткуда не следует, что эволюция эта носила по-настоящему радикальный характер. Но, по крайней мере на рубеже 1790 и 1791 гг., когда для “Московского журнала” Карамзин выбирает эпиграф из Поупа,

им. / Мы каждой в действиях конец имеем разный, / И всех желания весьма многообразны; / Но Божеский конец есть больший и один, / Всего создания краса и стройной чин. / Все наши глупости, упрямства и пороки / Удерживает он чрез Промысл свой высокий. / Худыя следствия прoderзости людской / Печется отвратить всесильною рукой. / Что слабостям он нас подвергнул, всякой тужит, / Но недостаток сей ко общей пользе служит. / Он дал девицам стыд, спесь с важностью женам, / Министрам страх, и жар с отважностью вождям, / Властям дал гордой дух и спесь высокомерну, / Народу простоту к обманам легковерну. / Он добродетелей плод может произвести, / Из тщетной склонности тех, кои любят честь; / Ни награждения, ни пользы не желая, / Но суетной хвалы одной снискать жадая. / Спокойство, радость, честь он нашу утвердил, / На заблуждениях и недостатках сил. // <...> // Какой бы страстию плененны мы ни были, / Премудрость, славу ли, богатство ль возлюбили; / То склонности своей оставить не хотим, / Чтоб следовать тому, что нравится другим. / Ученый токмо в том считает дни блаженны, / Чтоб тайны естества изведать сокровенны. / Глупец шастливее быть мнится для того, / Что он и имени не знает своего. / Богатой, на мешки свои смотря, ликует, / И нищий на судьбу не часто негодует. / Слепые пляшучи ногами в землю бьют, / Хромые песенки с веселием поют. / Безумный думает, что он Царем народа, / И пьяной мнит, что он великой Воевода. // <...> // Честное мнение всем о своей охоте / Как общий друг дано по Божеской щедроте. / Какого б возраста, каких кто лет ни был, / Нет, кто б чего нибудь на свете не любил. / Надежда всякой час последует за нами, / И при конце она стоит перед глазами. // <...> // Познай, что все добро, которым человек / Здесь может в временной сей наслаждаться век; / Все то, что сам Творец и щедрая природа / Приготовила к веселию народа; / Все те приятности, что мысли веселят, / Все сладости в сих трех вещах лишь состоят: / В потребах жития, во здравии телесном, / По том в спокойствии надежном и нелесном. / Чрез воздержание мы можем здравы быть, / Чрез добродетели спокойство получить. / Благия шастия всем получить возможно, / И добродетельно живущим и безбожно; / Но сладость сих благих тем меньше есть вкусна, / Чем больше мерзостью чья мысль заражена” [25, с. 30, 34, 39, 40–42, 65].

прямо указывая на *основной* контекст своего издания, между Поупом и Херасковым-автором аллегорических романов, а также между Поупом и Карамзиным, обнаруживается принципиальная идеологическая общность: подобно английскому поэту, они в целом оптимистически истолковывают возможный исход сложнейшей борьбы добра и зла / разумных побуждений и стремления к порочным удовольствиям в человеческой душе, сопresentствующих в ней как отражение мировой мистерии. Содержание выборки 1811 г., как минимум, никоим образом не противоречит тому, что нам известно о мировоззрении Карамзина в период издания им “Московского журнала”.

Во-вторых, повторим, никаких иных источников, которые позволили бы нам уяснить карамзинское понимание наиболее существенного в этой поэме и увидеть эпиграф к “Московскому журналу” в его соотнесенности с содержанием поэмы, у нас нет.

Здесь не место обсуждать поэму Поупа как идеологическое целое; но и приведенного фрагмента достаточно для того чтобы оценить сложность ее проблематики: связь и взаимодействие души и тела, разума и воображения; страсти и время; жизнь и смерть; реальность и мысленное зрение; порок и добродетель; двойственность человеческой природы, неизбежность, смысл и цель внутренней борьбы, благость Творца – вот неполный перечень тем, которые Поуп связывает с “удовольствиями”, взыскуемыми человеком, и избранный Карамзиным стих его поэмы отсылает ко всей сложной их совокупности.

Но темы эти, в силу их универсальности, естественным образом проецируются в план содержания “Московского журнала”, оказываясь активным фоном *всех без исключения* помещенных в нем пьес, и одновременно связывают эти пьесы со смысловым пространством *всей* европейской литературной традиции, включая эзотерику, к которой Поуп имел самое непосредственное отношение, и той частью русской литературы, в т.ч. масонской, которая вслед за Ломоносовым и Поповским осмыслила “Опыт о человеке” как один из ключевых концептуальных текстов, представляющих образцовые и в полной мере актуальные интерпретации духовных возможностей человека.

С помощью этого эпиграфа Карамзин добивается нужного ему эффекта: указав на Поупа как на ближайший ориентир своего журнала, он демонстрирует отсутствие конфликта между поэзией и масонской мистической литературой, в равной мере заинтересованных в проблематике, обсуждавшейся Поупом.

В контексте сложных, но в любом случае отнюдь не антагонистических взаимодействий Карамзина с этой последней и должна рассматриваться его рецензия на роман Хераскова “Кадм и Гармония”, занявшая значительную часть того же первого номера “Московского журнала” [6].

В сущности, роман этот не был литературной новостью: он вышел в свет еще в 1789 г.⁷ (данные о более ранней, с отнесением к 1786 г., публикации романа [20, т. 3, с. 333], до сих пор не были подтверждены) и, не исключено, был полностью или частично известен Карамзину еще до начала его путешествия⁸.

Но, во-первых, такого рода “отставание” литературной критики от литературы в XVIII в. было делом обычным, а во-вторых, рецензия на “Кадма” была нужна Карамзину, поскольку должна была стать одним из существенных элементов сложно выстроенной им тактики, один из важнейших аспектов которой — смягчение обозначившегося антагонизма с московским масонством.

Это можно было сделать, только заручившись поддержкой масонов-литераторов, и прежде всего именно Хераскова, с которым Карамзин был связан давно и которого воспринимал как по-настоящему крупного современного поэта.

Далее, нужно было заявить литературную позицию, которая, с одной стороны, отражала бы его действительные представления о том, какой должна быть изящная словесность, а вместе с тем демонстрировала бы наличие у него общих тем, подходов, элементов картины мира — если не со всем масонским кругом, то, по крайней мере, с той его частью, которая не чуждалась занятий литературой и понимала ее воспитательное значение.

Разумеется, Карамзин не собирался кривить душой, мистифицировать среду, которая его хорошо знала и к которой он отнюдь не питал вражды, или, тем более, в статье о Хераскове хвалить его, одновременно иронизируя над ним или, так

сказать, *уравновешивая* его достоинства и его недостатки, чтобы продемонстрировать таким образом похвальную непредвзятость. Во-первых, такого рода игры, достойные мелких литературных интриганов или людей, наделенных специфической “легкостью в мыслях”, были не в характере Карамзина; во-вторых, даже если допустить такую возможность, придется признать, что он не обладал достаточным количеством единомышленников, которые могли бы оценить эту игру; в третьих, Херасков не дал для серьезной борьбы с ним ни малейшего личного повода; в-четвертых, повторим, Херасков мыслился Карамзиным-журналистом и альманашиком не как противник, а как союзник первостепенного значения.

Итак, посмотрим, что же именно писал Карамзин в своей рецензии и как именно он выстраивал литературные отношения с Херасковым.

Прежде всего он заявил о том, что “Кадм и Гармония” — литературное событие, которое должно привлечь внимание всей читающей публики: “Сие творение должно по справедливости возбудить внимание всех, любящих российскую литературу”. Это первая фраза рецензии. Именно так: новый роман Хераскова не есть событие кружковое, групповое и т.д., а общелитературное. Эту же мысль Карамзин повторит ближе к концу: “Довольно. Из сих приведенных мест можно видеть, что Кадм есть творение, достойное всего внимания читателей”. Впрочем, он не просто повторяется, он предельно усиливает исходный тезис: сначала он говорит, что *все* должны или будут читать книгу Хераскова, потом — что она потребует от этих *всех* *всего* их внимания. Подобная постановка вопроса практически беспрецедентна в русской журнальной критике.

Далее, обсуждая Хераскова и прекрасно понимая, что рецензия его будет внимательнейшим образом прочтена в масонском кругу, Карамзин уточнил и заострил свою позицию, опираясь на общеизвестный текст Горация и в очередной раз явным образом адресуясь к тексту объявления о выходе “Московского журнала”:

“Философ не-Поэт пишет моральные диссертации, иногда весьма сухие, Поэт сопровождает мораль свою пленительными образами, живет ее в лицах, и производит более действия. Таким образом Сочинитель Кадма хотел в привлекательной мифологической одежде сообщить *свои* нравоучения, политические наставления и понятия о разных вещах, важных для человечества; учить нас, так сказать, неприметно, питая наше любопытство приятным повествованием вещей чудесных — одним словом, он хотел написать нам второго Телемака” [6, с. 80–81].

⁷Ср., впрочем, точку зрения П.Н. Беркова, который считал, что “Кадм и Гармония” “к началу 1791 г. не утратил еще характера литературной новинки” [27, с. 510]. Вероятно, Берков ориентировался на М.П. Погодина, который в своей краткой характеристике рецензии Карамзина назвал роман Хераскова “только что вышедшим” [13, т. 1, с. 174].

⁸Письмо его к Дмитриеву от 18 мая 1788 г. свидетельствует о том, что он обладал какими-то восходившими непосредственно к Хераскову данными о ходе подготовки романа к печати: “Не скоро еще М.М. Херасков отдаст в печать своего *Кадма* <так!>, как я от него слышал; и так обещав вам скоро доставить сие сочинение напечатанное, я вас обманул, быв сам обманут” [28, с. 7].

В сущности, здесь сказано следующее: *непоэтической философии, моральным диссертациям, иногда весьма сухим (теологическим, мистическим, слишком ученым, педантическим, сухим пьесам)* эта вся читающая публика, мобилизующая все свои способности, может и даже должна предпочесть второго Телемака, т.е. философию под мифологической одеждой и в форме приятного повествования о вещах чудесных.

Это был еще один, в дополнение к данному в предисловии к первому номеру, ответ на критику, доносившуюся из кружка Кутузова и Трубецкого, ответ своеобразный и в каком-то смысле сокрушительный.

В самом деле, Карамзин повторно и уже на страницах того самого журнала, который, по мнению этого кружка, он не должен был издавать, заявил свою позицию и сделал это именно в комплиментарной рецензии на роман Хераскова, который “братьям” был интересен, конечно, не как текст поэтической, а как философский, мистический, моралистический.

Выходило, что не кто иной, как Херасков уже в каком-то смысле реализовал — и не в теоретических декларациях, а в самом своем творчестве — именно ту точку зрения, которая была высказана Карамзиным и вменена ему в вину его масонскими критиками.

Но выстроив всю эту ситуацию столь благоприятным, если не победительным, для себя образом, Карамзин вряд ли мог этим ограничиться: если он начал объясняться, он должен был объяснить по существу вопроса. Итак, *моральные диссертации* отвергнуты ради приятного повествования как облачения для философии. Но тогда нужно понять, каковы концептуальные основания подобной постановки вопроса.

Это было разъяснено тут же и опять в завуалированной форме, внятной для посвященных и отнюдь не прозрачной для остальных: последовало рассуждение о *повести* и *поэме*, отсылавшее к представлениям об организации литературного текста, выходявшим за пределы школьной риторики:

“Почтенной Автор в предисловии своем говорит, что Кадм его есть не *Поэма*, а *простая повесть*; но когда повесть есть не история, а вымысел, то она, кажется, есть поэма — Эпическая или нет, но все Поэма — стихами или прозою писанная, но все Поэма, которая по общепринятому понятию на других языках означает всякое творение вообразительной силы. Таким образом Комедия, Роман есть Поэма” [6, с. 81].

Карамзин здесь обыгрывает семантическую смежность понятий эпос, повесть, поэма, понимая, что у него есть все основания в этом опереться на традицию⁹. Другое дело, что отказ от признания иерархии поэзии и прозы (“все поэма — стихами или прозою писанная”) мог восприниматься как существенно менее тривиальный, хотя и не вполне оригинальный: в какой-то мере Карамзин учитывал текст предисловия Хераскова к “Кадму и Гармонии”¹⁰.

⁹Ср., напр., у Баттё: “Слово *Эпопея*, взятое в величайшей его обширности, свойственно всякому Пиитическому повествованию, и следовательно самой малейшей басни Езоповой; *Этос* значит *повествование*, а *поэма* *делаю, вымышляю, творю*. Слово *Эпическая поэма* имеет, как видно, одинаковый смысл и происхождение” [29, т. 2, с. 212]; ср.: [29, т. 1, с. 265]; ср. опыт разграничения “поэмы” эпической и драматической у Роллена: “Поэма разделяется обыкновенно на Эпическую и Драматическую. Первая состоит в повести, и в ней говорит Стихотворец. Вторая содержит действие представляемое на феатре, так что Стихотворец влагает речь в уста тех особ, кои на оном показываются. <...> К роду Эпической поэмы ... относятся многообразные виды поэмы: Идиллии, Сатиры, Оды, Епиграммы, Елегии, и проч. а поэма драматическая заключает в себе трагедию и комедию” [30, т. 2, с. 249–250]; ср.: [31, т. 5, с. 75–76].

¹⁰Ср.: “...думаю, что сам Фенелон чувствовал, что его Телемаку свойственнее проза, нежели стихи; но и в прозе его вся важность и сладость высокого стихотворства погружена; почему несомненно уподоблять можно творца Телемака высочайшим пиитам. Не одни стихи, но наипаче изобретения, естественность, украшения, привлекательность слога, убедительное нравоучение и остроумие стихотворца составляют” [32, ч. 1, с. VII]. В этом пункте своих рассуждений Херасков вполне сходил с Третьяковским, который назвал роман Фенелона “четвертою Эпопией” (после двух эпопей Гомера и одной Виргилия) [33, с. XII]. На противоположном от Карамзина и Хераскова полюсе в этом вопросе оказался Н.И. Никольев, со всей определенностью заявивший свою позицию в примечаниях к “Лиро-Дидактическому Посланию”: “...многие прозаписатели бесчисленными томами старались доказать, что *поэзию* составляет единое богатство мысли и воображения, устами или пером выраженных, что с пламенным воображением прозаписатель есть *поэт*, а потому *Телемак* и оному подобные сочинения суть *эпические поэмы*; но я <...> согласуюсь токмо с теми, кои прозу с стихотворством не смешивали и не смешивают” [34, т. 3, с. 147]. См. также иронические замечания в “Зрителе” А.И. Клушина и И.А. Крылова об усыпляющих читателей “рифмопрозаическом” “Отставном вахмистре И.И. Дмитриева” и “рассуждении о *поэмах* <...> в примечании на К.<адма> и Г.<армонию>” [35, с. 158]. Эпистолярные отклики Карамзина на послание Никольева, в первой редакции озаглавленное иначе и не имевшее еще примечаний [36], и на выходку “зрителей” см.: [28, с. 20, 28]. Опыт прямой и обстоятельной полемики с Карамзиным (при общей высокой оценке его рецензии) см.: [37, с. 144–148]; ср.: [38, с. 244–245]. Через несколько десятилетий позиция Карамзина покажется более приемлемой: Белинский назовет романы Хераскова “поэмами в прозе” [39, с. 29], а Гоголь подзаголовком “Мертвых душ” окончательно закрепит жанровый парадокс Карамзина в русском культурном сознании, см.: [40].

Но гораздо важнее, что отказ этот вполне соответствовал логике самого Карамзина: если в качестве базового выдвигается разграничение истории и вымысла, противопоставление поэзии и прозы *на этом* смысловом уровне неизбежно предстает как несущественное; ясно, что и та, и другая равно подвластны “вымыслу”, “вообразительной силе”.

Подобная постановка вопроса опиралась, в частности, на широко известные рассуждения Сен-Мартена об “умственных произведениях”, ср.:

“Сии произведения, какого б роду они ни были, мы можем разделить на два отделения, <...> потому что во всем, что существует, есть или умное, или чувственное, и все, что человек может произвести, имеет целию которую нибудь из сих двух частей. В самом деле, все, что люди ежедневно выдумывают и производят в сем роде, состоит в том, чтоб научить или тронуть, рассуждать или возбуждать чувствительность <...>. К первому отделению отнесем все творения рассудка <...>. Ко второму отделению отнесем все то, что имеет целию сделать впечатления в сердце человеческого, какого б роду они ни были, и тронуть его, каким бы то образом ни было. Хотя на два отделения расположил я словесные произведения умных способностей человека, не забывая <...>, что они имеют многие ветви и разделения как по числу разных вещей, подлежащих нашему рассуждению, так и по множеству оттенков, которые могут быть в наших чувствованиях. Не вступая в исчисление их, <...> мы можем взять в рассуждение главную токмо ветвь каждого отделения и которая есть первая по ряду, как на пример, в вещах подлежащих рассуждению Математику; а Поезию в тех, которые относятся к чувственной способности человека. <...> И так обращаюсь <...> к Поэзии, яко к превосходнейшему произведению способностей человека <...>. Язык <поэзии> не зависит от тех общеупотребительных правил, в которых у разных Народов условились люди заключать свои мысли. Кому не известно, что сие есть следствие ослепления их, что они вздумали сим средством умножить красоты, а вместо того отяготили себя трудом, и что сие чрезмерное наблюдение правил, которым поработают нас в намерении тронуть телесную нашу чувствительность, тем паче умаляет истинную нашу чувствительность” [41, с. 485–489].

Как известно, книга Сен-Мартена “О заблуждениях и истине” сыграла исключительно важную роль в идеологии московских масонов¹¹ и была хорошо известна Карамзину¹². Поэтому

¹¹ Ср., напр.: «Первые <...> книги, родившие во мне охоту к чтению духовных, были: Известная “О заблуждениях и истине”, и Арндта “О истинном христианстве”» [42, с. 20].

¹² О Сен-Мартене, его книге и его русских последователях и знакомствах: [43, с. 74–76, 159–160, 179]; [44, т. 3, с. 427–428, 431–432]; [45, с. 118, 141–142, 147, 210–218, 275]. Об отношении Карамзина к Сен-Мартену см. в т.ч.: [46, с. 109–111, 114, 121].

приведенный нами отрывок может рассматриваться если не как прочно ими усвоенный и принятый как безусловная истина, то во всяком случае как хорошо им памятный и авторитетный. Соответствующий фрагмент рецензии Карамзина не содержит прямых отсылок к данному тексту, и вместе с тем не только не противоречит ему, но и в некоторых отношениях с ним пересекается.

Во-первых, подобно Сен-Мартену, Карамзин исходит из противопоставления двух групп “словесных произведений” – ориентированных на разум и апеллирующих к чувствам; разум требует твердо установленных фактов (“история”) и доказательств (“математика”), чувства – “красот” и поэтического “вымысла” (“поэзия”).

Во-вторых, Карамзин, вслед за Сен-Мартеном, теоретически обосновывающим ненужность “общеупотребительных правил” школьной поэтики, “уменьшающих” “истинную чувствительность”, демонстрирует, как нечто само собою разумеющееся, готовность поступать соответствующим образом; во всяком случае в “полемике” о поэме и повести Сен-Мартен оказывается “союзником” не столько Хераскова, сколько Карамзина.

Вернемся теперь к словам его о “вообразительной силе”: это понятие заслуживает специального обсуждения, поскольку указывало в сторону некоторых не просто внятных масонской среде интеллектуальных конструкций, но и имевших для нее вполне обязательный характер. Здесь ограничимся выдержкой из масонского журнала, составленного в новиковском кружке и печатавшегося в типографии И.В. Лопухина:

“Не должно судить о Масонском обществе ни по их таинствам, ни по их языкам, обрядам и изображениям. Человеки суть существа чувствительные, допускающие управлять собою посредством живых впечатлений вообразительной силы лучше, нежели посредством хладных заключений рассудка. Разумный только чувствует силу заключений сих, и если не питают оне купно и вообразительную силу, то бывают часто сухи и безпрелестны. Не редко должно даже брать прибежище к тем спасительным предрассуждениям, толико власти над сердцем человеческим имущим, что заступают оне место и самых законов и добродетелей. Древние жрецы Изисы и Елевзинской Цереры употребляли изображения, фигуры, и суеверные обряды для исправления пороков и злоупотреблений” [47, с. 34].

Итак, с понятием о “вообразительной силе” связана концепция влияния на “человеков”, опирающаяся на представление об их “чувствительности”, которая требует не “хладных заключений рассудка”, не ученых, педантических, слишком сухих сочинений, не *моральных*

диссертаций, а понимания ее специфики, возможностей и потребностей.

Так фраза из объявления о “Московском журнале”, вызвавшая негодование московских масонов, обрела концептуальную опору именно в масонской литературе, и вместе с тем оказалась теснейшим образом связана с фундаментальными основаниями эстетики Карамзина¹³. А тем читателям, которые не понимали этот более или менее специфический подтекст (или не придавали ему значения), предлагалось воспринимать текст Карамзина только в его буквальном смысле.

Что они могли увидеть в этом тексте, кроме рассуждения о *поэме*, которое каждый из них волен был оценить как оригинальное или странное, не вполне внятное или даже неправильное и т.д.? Прежде всего и, быть может, только, но с полным основанием, — очередной комплимент Хераскову.

В самом деле: автор романа заявляет, демонстрируя похвальную скромность, что этот роман его всего лишь “простая повесть”, не претендующая на статус “поэмы”. Рецензент не соглашается с автором и разъясняет ему, что эта “повесть” все-таки “поэма”, т.е. что он, автор, преуменьшил ценность своего создания. О сей последней чуть ниже говорится: “В сем сочинении найдет читатель, кроме рассуждений, прекрасные поэтические описания, любопытные завязки, интересные положения, чувства возвышенные и трогательные, обороты свободные и натуральные; слог же всегда приятен и возвышен без надутости”.

Однако в числе этих “наивных” читателей находились и те, кто, не питая особого интереса к масонской мистике, счел нужным откликнуться на декларированный Карамзиным отказ от

слишком последовательного разграничения поэзии и прозы.

Одним из них оказался Державин, благосклонный не только к Карамзину, но и к Хераскову, которого через какое-то время выведет из-под удара правительственных репрессий, воспользовавшись покровительством П.А. Зубова. Через Дмитриева он переслал к Карамзину для публикации в его журнале свое стихотворение “Прогулка в Царском селе” [28, с. 20], в котором, обыграв постановку вопроса в обсуждаемой здесь рецензии, заявил о Карамзине как о поэте в прозе: “Пой, соловей! — и в прозе / Ты слышан ... <Карамзи>н” [51, с. 127] (датируется маем 1791 г.: [52, т. 1, с. 423]; в позднейшей редакции: “Пой, Карамзин! — и в прозе / Глас слышен соловьин” [52, т. 1, с. 427]).

Карамзин же, заявив свою позицию по вопросу о границах поэзии и прозы / романа и поэмы, следовал ей и в дальнейшем; ср., напр., в рецензии на первый том перевода “Неистового Роланда”: “Только жаркий климат Италии мог произвести такого *романиста*, каков был Ариост. Читая его *Поэму*, не лъзя не удивляться неистощимости его воображения <...>” [53, с. 322; курсив наш].

Вернемся к тексту рецензии Карамзина. Далее он приводит некоторые фрагменты “Кадма и Гармонии”, призванные, по мысли рецензента, дать представление не только о содержании книги, но и об ее идеологии.

Готовность Карамзина обсуждать эту идеологию имела некоторый дополнительный, а ему самому, возможно, представлявшийся исключительно важным, смысл: это делалось в условиях, когда московские масоны испытывали все более сильное давление со стороны кн. А.А. Прозоровского, в январе 1790 г. назначенного московским главнокомандующим и внимательно надзиравшего за теми, кого воспринимал как носителей разрушительных идей (см. об этом: [43, с. 300–311]; [54, с. 407–408]). Херасков не был исключением: пройдет время, и в 1792 г. Прозоровский назовет его в числе злонамеренных лиц, группировавшихся вокруг Новикова [54, с. 439]. Разумеется, в начале 1791 г. еще никто не знал, что внимание властей выльется в конце концов в арест Новикова и вполне серьезное расследование его деятельности, но никаких иллюзий насчет того, что отношение к ним императрицы Екатерины II может измениться к лучшему, московские масоны не питали.

В этих условиях демонстративный отказ Карамзина от сотрудничества с ними был воспринят, по крайней мере на первых порах, как

¹³Разумеется, цитата из журнала 1784 г., которую мы привели, не была чем-то уникальным: напротив, есть все основания считать, что речь идет о вполне устойчивой конструкции, задолго до “Московского журнала” включенной в литературный контекст. Так, например, М.Н. Муравьев, размышляя о Ломоносове в новиковском журнале “Утренний свет”, выдвигал именно эту категорию: “Какою живостью одушевлено выражение *Ломоносова!* Каждое являет знаменование изобильнейшего и приятного воображения. Вот, чем превзойдет он всех своих последователей в Лирическом роде! Слог его дышет и там, где заблуждается, может быть, рассуждение или воображительная сила художника избирает свои картины” [48, с. 370]; данный фрагмент неоднократно цитировался Н.Д. Кочетковой, см. в частности: [49, с. 273]. Не менее существенно, что словосочетание “вообразительная сила” вошло в эпистолярный и, видимо, кружковый язык московских масонов, хорошо известный Карамзину (см., напр. в письме А.М. Кутузова к И.П. Тургеневу от 7/18 апр. 1797 г.: “Я знаю твое сердце и твою вообразительную силу, они да скажут тебе, что происходило в душе моей...” [5, с. 369]).

предусмотрительность, граничившая с малодушным отступничеством. 31 декабря 1790 (11 янв. 1791) г. Кутузов отправляет кн. Н.Н. Трубецкому своего рода памфлет на Карамзина за подписью “Попугай Обезьянин”, в котором иронически комментирует все то же объявление об издании “Московского журнала” и на разные лады иронизирует над готовностью незрелого сознания ограничить себя деятельностью, не требующей самосовершенствования. Этим он не ограничился, поделившись своей догадкой о том, что отказ Карамзина печатать статьи московских розенкрейцеров обусловлен, помимо всего прочего, позицией властей: «Я совершенно с вами согласен, — пишет Обезьянин к издателю “Московского журнала”, — <...> что таковыя сочинения не должны быть терпимы в благоустроенном государстве...» [3, с. 73]¹⁴.

Независимо от того, знал Карамзин об упреках такого рода или нет, он должен был выбирать стратегию поведения, прекрасно понимая, что именно происходит вокруг московского масонского кружка.

Никаких колебаний у него не было: об этом достаточно красноречиво свидетельствует сам факт публикации в первом же номере “Московского журнала” обсуждаемой здесь рецензии на Хераскова, в которой подает как литературную новость огромного значения давно напечатанный его роман, не скупясь на похвалы.

Теперь вернемся к идеологии “Кадма и Гармонии”. Карамзин понимает, что поддержать Хераскова он может только демонстрацией его абсолютной лояльности к существующему порядку правления — и включает в свою рецензию огромный фрагмент, посвященный именно последнему:

¹⁴Примерно через месяц всякая почва для такого рода намеков и догадок должна была исчезнуть: стало известно, что Карамзин в таком же подозрении у Прозоровского, как и остальные, ср. в письме И.В. Лопухина к А.М. Кутузову от 3 февр. 1791 г.: “Ты спрашиваешь меня, любезный друг, о Карамзине. Еще скажу тебе при сем о ложных заключениях здешнего главнокомандующего. Он говорит, что Карамзин ученик Новикова и на его иждивении послан был в чужие края, мартинист и проч. Возможно ли так все неверно знать, при такой охоте все разведывать и разыскивать, и можно ли так думать, читая журнал Карамзина, который совсем анти того, что разумеют мартинизмом, и которого никто более не отвращал от пустого и ему убыточного вояжу, как Новиков, да и те из его знакомых, кои слынут мартинистами? Карамзину хочется непременно сделаться писателем так, как князю Прозоровскому истребить мартинистов; но думаю, оба равной будут иметь успех; обоим, чаю, тужить о неудаче” [3, с. 89].

«Перевернем еще несколько листов, и послушаем рассуждение о разных образах правления. Кадм говорит в собрании Фессалийского народа, обращаясь к вельможам, хотящим установить Аристократическое правление.

“Мужи знаменитее, отцы <...> Фессалийского народа! я <...> не сомневаюсь, чтобы не истинная к вашему отечеству любовь побуждала вас поработить царство ваше <...> вашему чиновничеству. Вы находите образ такого правительства <...> удобнейшим и <...> полезнейшим; но помыслите, <...> коль дивный истукан на <...> престоле соорудить вы дерзаете! Вы предприимлете составить единый лик Царя из разных членов вашего общества; уничтожая Царя, царскую <...> мощь из раздробленных частиц слепить вы покушаетесь: <...> едва ли возможное предприятие! Слияние разных веществ в единую грудю редко <...> прочным телом бывает. Но ежели вы уповаете обрести <...> некое число ни в чем не разнящихся вельможей в их умоклечениях, образы мыслей никогда друг другу не противоречащих, чувств, воли и желаний к единой цели завсегда стремящихся <...>, устройте правление чиновничальственное! В противном случае вы многих мучителей, а не единокдушных отцов и защитников народных устройте”.

При сих словах вельможи потупили очи свои, а народ возопил: *Не хотим, не хотим чиновничальствеинога вельможей правления! Да будет оно общенародное!* — Кадм, укротив восклицания <...>, речь свою простер тако: Ежели небольшое число <...> вельможей ваших, о Фессалийцы! отечеству вредно: то каким злошастием угрожается <...> царство, всем народом управляемое? Вы заключаете в самом корне вашего намерения великое зло, день от дня возрастать могущее, и всю Фессалию в бездну погибели низвергнуть долженствующее. Кто ваше благоденствие устраивать будет? Вы сами! — Какому суду поработиться чаете? Собственному <...>! — Кто вами будет начальствовать, и кто начальникам <...> покоряться? Вы сами и начальниками и повинующимися быть должны! — Станный образ правительства! <...> Вообразите, ежели бы земля наша, отвергнув солнечное сияние, сама себя освещать восхотела: в какой бы мрак она погрузилась? Ежели бы члены наши, отрекшись от назначенного Природою им долга, все <...> господствовать восхотели: долго ли бы тело наше в целости пребывать могло? Скоро бы оно разрушилось, а с ним и члены его купно бы погибли. Каждое царство есть целое тело, главу для управления и прочие члены для служения иметь долженствующее.

Выслушав речь сию, народ возопиял: *Законы, законы да управляют нами!* Тогда Кадм вещал: Законы сами собою управлять и действовать не могут <...>. Законом потребна деятельность; деятельность относится к судам и народным попечителям; попечителям и судьям нужна глава выше законов поставляемая, могущая охранять святость законов, <...> общее благосостояние, ненарушимость <...> судопроизводства, <...> добро от зла, истину от коварства, тщательность от лености отличать могущая, и наконец верность и заслуги в отечестве награждать, а нерадивость пробуждать долженствующая. Сия-то глава есть Царь самодержавствующий подданными. О Фессалийцы! почто не избираете Царя самодержавного; Царя, который бы имея в своих руках вожди правления, управлял

народом по законам, из самого естества и ваших склонностей предками вашими почерпнутым, или для <...> общего блага вновь установленным? Устроая ваше благо, мудрый Царь собственное сооружает благо; разрушая общее, собственной гибели поспешествует. Мы имеем во всей вселенной <...> знак единоначальства <...>: не един ли Зевс небом, землей и всеми <...> божествами верховно управляет? Не единое ли солнце обращает круг небесный с его прочими светилами? Не едину ли главу мы имеем, члены наши в стройном порядке содержащую? — Вельможи и граждане! <...> советую вам, отвергнув все роды других правлений, избрать Царя, и вы паки благоденствовать будете. — Кто не почувствует убедительности сих рассуждений?» [6, с. 84–89].

В отношении к политической идее, выраженной в этой выписке из Хераскова, у Карамзина не было с ним расхождений (ср., напр., в “Записке о древней и новой России”: “Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разнотолствия, а спаслась мудрым самодержавием” [55, с. 97; первая публикация]). Но идея эта не была, конечно, только их достоянием: на ней было основано все здание государственной идеологии екатерининской эпохи и, шире, всего имперского периода истории России. Более того, идея просвещенной монархии была неотъемлемой частью идеологии русского и европейского абсолютизма и неоднократно обсуждалась как европейскими философами, литераторами, публицистами, так и Екатериной II в целом ряде ее сочинений, оригинальных и переводных, и писем.

Особое место в этом корпусе занял перевод романа Мармонтеля “Велизарий” (“*Bélisaire*”, 1765), который может рассматриваться как один из наиболее важных источников культурного языка русского имперского Просвещения. Как известно, этот роман был переведен на русский язык Екатериной II и ее приближенными во время известного путешествия по Волге в конце апреля — первой половине июня 1767 г. и менее чем через год через был напечатан ([56]; об авторах перевода см.: [57], здесь же основная литература вопроса). Второе издание этого перевода последовало через пять лет [58], а третье было выпущено в свет Н.И. Новиковым и той самой Типографической компанией, которая к этому времени уже попала под подозрение верховной власти [59].

Приведенная только что — вслед за Карамзиным-рецензентом — обширная выписка из “Кадма и Гармонии” содержит отсылки к этому роману, который выполняет роль своеобразного интеллектуального “фона”, причем активного — в том смысле, что обращение к нему помогает понять смысл херасковских деклараций.

Херасков, в процитированном Карамзиным фрагменте: “Устроая ваше благо, мудрый царь собственное сооружает благо; разрушая общее, собственной гибели поспешествует”.

Девятая глава романа Мармонтеля, переведенная Екатериной II, содержит пассаж, разъясняющий это положение:

“Закон есть соглашение соединенных хотений в одно: следовательно, власть его есть содействие всех сил государства. Напротиву того, воля одного, когда она несправедлива, имеет против себя те же самые силы <...>. И так, чтобы угнетать одну часть народа, делается он невольником другой <...>. И так, поколику власть клонится к тиранству, потолику она ослабевает и подвергается зависимости <...>. Но когда власть сходствует с законами, то одним законам она и повинуетя. Она основана на воле и силе целого народа. <...> Государь в соединении с своим народом богат и силен всеми богатствами и силами своего государства” [59, с. 115–118].

В числе искренних поклонников “Велизария” (как и творчества Мармонтеля в целом) были Херасков, его круг¹⁵ и прежде всего Карамзин¹⁶. Демонстрация зависимости от него “Кадма и Гармонии” на идейном уровне, осуществленная Карамзиным, не была просто ловким тактическим ходом. И все же она, кроме идеологического, имела вполне актуальные политические аспекты: как известно, русское масонство привлекло к себе недоброжелательное внимание Екатерины II в тот момент, когда было осознано ею как форма самоорганизации представителей аристократических семей, стремившихся усилить свои политические позиции и возможности влияния на самодержавную власть. Херасков, противопоставляя аристократическому правлению самодержавное как единственно благое и единственно спасительное и, тем самым, обнаруживая готовность следовать актуальной идеологии власти, очерчивал общие-обязательные границы того политического пространства, за пределы которого не должна была выходить политическая борьба. Дополнительную остроту всей ситуации придавали выразительные детали бытования романа Мармонтеля во Франции и в России. Как известно, во Франции “Велизарий” был запрещен, и Екатерина с приближенными переводила его “почти в то самое время,

¹⁵ См., напр., отзыв Новикова о романе Мармонтеля и его переводе, осуществленном по инициативе Екатерины II: “О счастливый Писатель *Велисария!* ты увенчан был на нашем языке славою и честью, до каковыя ни один Писатель еще не достигал! Твои успехи превзошли твои желания; и тебе не оставалось ни чего желать...” [60, с. 84].

¹⁶ Об отношении Карамзина к Мармонтелю и о переводах из него см., в частности: [61]; [62]; [63].

когда подлинник этой книги жгли в Париже рукою палача” [43, с. 20]. Это — основной культурно-идеологический и политический “фон” русского “Велизария”, и на этом “фоне” русская императрица предстала как оплот разумного вольномыслия. “Фон” дополнительный, но по-своему не менее выразительный и важный для Карамзина-рецензента — прозвучавшее в 1789 г. требование архиепископа Казанского и Свияжского Амвросия, запретить продажу и распространение переизданного Новиковым “Велизария” (см. об этом, напр.: [64, с. 128–129]), косвенно задевавшее и Екатерину II, оказавшуюся на мгновение в крайне двусмысленной ситуации: русские церковные власти готовы были поступать с этим романом так же, как некогда с ним поступили французские, а на русскую императрицу неизбежно падала та же тень подозрений в религиозном и политическом вольномыслии, которую она сама простерла над Новиковым и его Типографической кампанией.

Итак, приверженность Хераскова к идеологии самодержавия засвидетельствована его собственным текстом, опиравшимся, в частности, на перевод Екатерины II из “Велизария”, и этот текст предъявлен читателям в рецензии Карамзина как недвусмысленное свидетельство благонадежности автора.

Дальше, естественно, начиналось обсуждение более тонких и сложных вопросов, в т.ч. внешних и внутренних угроз самодержавному правлению, т.е. революции и нравственной несостоятельности монарха.

Но прежде чем привести выдержки из “Кадма и Гармонии”, касающиеся этой проблематики, Карамзин стремится завершить тему “поэт и власть”, выдвигая другой ее аспект, не менее актуальный для Хераскова, и печатает фрагмент романа, посвященный уже не идеологии, а поэту, которого власти заподозрили в наличии у него предельных политических амбиций. Здесь выясняется, что поэт живет не политическими интригами, а “песнословием”, и занятие это для него столь “сладостно”, что подозрения “фессалийских вельмож” представляются ему заведомо неадекватными:

«Песнопевец, убеленный временем, говорит вельможам <...>, подозревающим, что он через союз родства с Царем хочет присвоить себе верховную власть.

“Юность мою проводил я в учении; зрелые мои лета и старость мою посвятил я песнословию и славе богов моих <...> и знаменитых Героев. Привык я к сему Небесам любезному упражнению; и променяю ли ныне сии увеселяющие мои чувства восторги, сие безмятежное, но

благочестивое прохождение дней моих — променяю ли на саны и преимущества вельможеские, с толикими беспокорствами и суетностями сопряженные <...>? О, нет, <...> не опасайтесь, дабы от природы сотворенный песнопевец, славитель богов и Героев, возгнулался влиянными ему дарованиями, и взалкал жаждою сиять паче на степенях верховного сана, нежели сиять чрез многие веки <...> славою! Такой песнопевец не был бы другом <...> богов, или был бы он дерзким похитителем сих священных дарований. Вам сладостны преимущества сана вашего, а мне сладостна моя лира. Может быть неважно для вас, о вельможи! мое песнопение; может быть и дарования мои в моем только понятии некоторую цену составляют: но для меня они важны и неоцененны, ибо они блаженство моей жизни соделывают. Оставьте мне мое малое жилище и убогие мои вертограды, <...> и не опасайтесь ни моего песнословия, ни алчности моей достигнуть высоких почестей в <...> царстве”. — Вот язык Поэта, чувствующего свою цену!» [6, с. 89–91].

Прочитав данный фрагмент, фиксирующий исключительно близкие ему самому аспекты темы поэта¹⁷ и вместе с тем в очередной раз отсылающий к актуальной политической ситуации, Карамзин приводит отрывок, представляющий “бунтовщиков”, и вновь солидаризируется с Херасковым, соединяя очередной комплимент ему с указанием на нравственное потрясение, испытанное чувствительным рецензентом при чтении этих строк:

«Там следует подробнейшее описание воинства бунтовщиков. “...Кадм и воинство египетское узрело Амазисово ополчение, в Гегеенской долине расположенное. Густые пары, из блатной земли <...> исходящие, яко облако стан его покрывали. Воинство его развратные мятежники <...> составляли. <...> Непривычные ко сражениям, были они и в ратоборстве неискусны, но дерзновенны и неустрашимы; рамена их покрыты овчею

¹⁷ Ср., в частности, общую постановку вопроса об отношении поэта и мира, его окружающего, в послании “К бедному поэту” (1796): “Оставь другим носить венец: / Гордися, нежных чувств певец, / Венком, из нежных роз сплетенным, / Тобой от Граций полученным” [65, с. 37]. Ср. в статье “Не-что о науках, искусствах и просвещении” (1793), где выясняется, что не нужно быть поэтом для того чтобы отринуть соблазны власти, достаточно просветить ум и душу науками и искусствами: “Все люди имеют душу, имеют сердце: следовательно все могут наслаждаться плодами Искусства и Науки <...> — и кто наслаждается оными, тот делается лучшим человеком и <...> не позавидует шастию роскошнейшего Саграпа” [66, с. 71–72]. Ср. еще о “славе” “чрез многие веки”: “Надежда жить в памяти людей утешает сердце. Все мы трудимся для бессмертия <...>. Но какие памятники могут сравняться с памятниками ума? Сколько великолепных чертогов, храмов и городов сокрылось во прахе ничтожества, с того времени, как Гомер первенствует между поэтами? <...> Но славные писатели живут в своих творениях и развешают искры ума в душах людей; время обновляет славу их” [2, № 7, с. 46].

<...> шерстю; бритые главы их, опаленные дубины, на их раменах лежащие, и короткие копья <...> придавали угрюмым видам их <...> ужас и отвратительную суворость. <...> Средину ополчения мятежнического составляли Мамелюки, народ дикий и кровожадный... <...> Ими начальствовал Фрамор, <...> рыцарь неустрашимый и жестокий. Он превышал <...> главой всех <...> воинов; грабеж и кровопролитие составляли его утешение, а наглое убийство первое правило. <...>. Левое крыло воинства состояло из Амонитов, Моавлян, Ливийцов и других народов, из их жилищ Иудеями изжженных и прибежища <...> всюду ищущих. Лишенные отечества, с отчаянной лютостью на брань они дерзали...” – Какие энергические черты! Я вижу перед собой угрюмых Мамелюков – вижу, зажигаю глаза и хвалю описателя» [6, с. 92–81].

Когда Херасков это писал, он вряд ли думал о приближающейся революции во Франции, но в момент публикации рецензии Карамзина данный фрагмент должен был восприниматься именно как отклик на французские события, уже принявшие необратимый характер. Приводя его, Карамзин решал, по-видимому, две задачи: во-первых, он с полным основанием демонстрировал контрреволюционный характер идеологии романа Хераскова, тем самым еще раз выставляя его в глазах власти в выгодном для него свете, а во-вторых, демонстрировал сочувственное отношение к подобной позиции не только власти, но и тем московским розенкрейцерам, которые, настроенные, как и Херасков, контрреволюционно, заподозрили Карамзина в симпатиях к французской революции (быть может, в первое время после его возвращения не вполне обоснованно¹⁸).

После этого Карамзин, продолжая цитировать Хераскова, напоминает о внутренней сложности проблемы власти, приводя текст, который в полном соответствии с представлениями “века просвещения”, базируется на противопоставлении

“добрых” и “злых” царей; с последними связывается мотив абсолютного зла:

«Диафан, главный Египетский жрец, показав Кадму место погребения добрых Царей, ведет его на другую сторону Меридова озера. “Уклонясь в лево, грядут они между колючими тернами, и приближаются к пещере мрачной и каменистой. Там заключены были в гробницах <...> прахи Царей злочестивых и священного погребения <...> отчужденных. Никто не смел приближаться к <...> ужасному кладбищу; никто не дерзал приносить молений о душах сих мучителей, и никто не хотел о заслуженном ими осуждении сетовать. Там ехидны <...> извивались, и ядовитые скорпии пресмыкались <...>. – Диафан, остановись при входе в пещеру, рек Кадму: Обрати очи твои ко десной стране, и тамо узришь погребательный сосуд, хранящий в себе прах злочестивого Тифона, лютого убийцы божественного Озирида; но священная Изиса, мстя смерть Озиридову, огнем истребила Тифона, сего врага богов и человеков, и память его предана вечному проклятию. Зри, <...> страшные змии <...> изрыгают яд и пламень, да не отважится никто приступить к сему гнусному праху, коим они питаются”. – Удалимся и мы с читателем от сего ужасного места, и поищем чего-нибудь нежнейшего» [6, с. 94–96].

Одно из литературных произведений, образующих ближайший контекст данного фрагмента – упоминаемый в рецензии роман Фенелона, в 18-й части которого рассказывается о посещении Телемаком царства мертвых именно в связи с темой “злых царей”, осужденных на загробные муки. Прежде всего здесь находим мотив забвения тирана живущими. Набофарзан, “царь гордого Вавилона” говорит Телемаку: “Но никто о мне не жалеет, дом мой гнушается, и не хочет имени моего вспомянути, а zde терплю жестокое мучение” [67, т. 2, с. 51] (в дальнейшем звучание темы усиливается: “Все ненавидят их, все прекословят им, и все смущают” [67, т. 2, с. 55], правда, речь идет не о живых, а об обитателях царства мертвых). Другой, столь же предсказуемый мотив, – “бесконечность” мучений, на которые они осуждены [67, т. 2, с. 55] (ср. у Хераскова упоминание о “вечных проклятиях”). Третий – стремление героя покинуть адские пределы и чувство облегчения, возникающее у него, когда это происходит, ср.: “Когда Телемак из одного места вышел, чувствует себя облегченна...” [67, т. 2, с. 57]. Это место очевидным образом обыгрывает Карамзин, фактически уподобляясь Телемаку, когда прерывает цитату из Хераскова и заявляет о стремлении своем “удалиться” “с читателем от сего ужасного места”. Четвертый: странствия Кадма по земле и Телемака по царству Плутона осуществляются на основе противопоставления пределов “царей злых” и “добрых” (при том что в первом случае

¹⁸ На это указывает часто цитируемая фраза А.М. Кутузова из письма его к Н.И. Плещеевой от 4/15 марта 1791 г.: “Видно, что путешествие его произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних друзей его. Может быть, и в нем произошла французская революция” [3, с. 99]. Ясно, что Кутузов имел в виду прежде всего сферу личных отношений, в которой все переменялось так же внезапно, как и ситуация во Франции в момент переворота. Но этим смыслом его замечание не замкнуто и вбирает в себя какие-то аспекты вопроса о политических и идеологических мнениях Карамзина: в противном случае придется считать эту фразу о французской революции избыточной или необязательной, просто шуткой, тот, что не соответствует ни стилю этого письма, ни стилю поведения Кутузова, культивировавшего серьезное отношение к жизни и презиравшего светскую болтовню.

речь идет, естественно, об их захоронениях, а во втором — о местах их посмертного пребывания) — с той разницей, что Кадам переходит от “добрых” царей к “злым”, а Телемак наоборот.

Теперь Карамзину необходимо осуществить переход к национальной теме: ценности и угрозы, о которых шла речь до сих пор, т.е. самодержавие и поэзия, с одной стороны, и революция и монарх, избирающий зло, — с другой, универсальны; настало время показать отношение Хераскова к России. И Карамзин приводит его “пророчество” о России, которая должна благоденствовать в веках:

«Славный в целом мире прорицатель, славный Тирезияс, два века человеческие уже преживый, шествовал их верхней Азии в Колхиду, и посетив гостеприимных Славян, возвестил им между многими частными прорицаниями о их потомстве, что они в грядущие времена на севере усилятся, приобретут громкую в мире славу, прострут свои победы от моря полуношного до вод полуденных, и нарекутся, под державой мудрого, кроткого и человеколюбивого правления, народом счастливым, сильным и просвещенным”. — Кто из Россиян будет читать сие без удовольствия?» [6, с. 97–81].

Это вполне сочувственное замечание Карамзина о патриотическом “удовольствии”, которое должны были испытать “россияне”, читая “Кадам и Гармонию”, было адресовано не только бдительным властям. Оно естественным образом соотносилось с обвинениями самого Карамзина в антипатриотизме, звучавшими в масонской среде. Так, 20 февраля 1791 г. кн. Н.Н. Трубецкой, обсуждая Карамзина в письме к Кутузову, отмечал: “Касательно до общего нашего приятеля, Карамзина, то мне кажется, что он бабочку ловит и что чужие края, надув его гордостью, соделали, что он теперь никуда не годится. <...> Словом, он своим журналом объявил себя в глазах публики дерзновенным, между нами сказать, дураком” [3, с. 94–95]. 4/15 марта Кутузов пишет о том же к Н.И. Плещеевой: “Желал бы знать, в чем состоит его журнал и какой имеет успех в публике. Ежели догадки мои справедливы, то отечество наше изображается им не в весьма выгодном виде. Но тем приятнее описаны прочия государства. Думаю, что и сама Курляндия, в сравнении с Россиею, представляется ему раем или, по малой мере, обетованною землею. Сие есть свойство всех наших молодых писателей: превозносить похвалами то, чего они не знают, и хулить то, чего познать не стараются” [3, с. 99–100].

Публично солидаризируясь с патриотическим текстом Хераскова и выставляя тем самым его

роман в выгодном для него свете, Карамзин одновременно дезавуировал иного рода подозрения и даже обвинения, направленные против него самого. Учитывая эту двусмысленность или, лучше сказать, двойную адресацию этой цитаты и комментария к ней, мы можем в полной мере оценить заявление Карамзина, которым он завершит свою рецензию: “Кадам будет жить с Россиядою и Владимиром” [6, с. 101].

В смысловом пространстве высвеченной Карамзиным темы великого будущего России, заявленной в “Каде и Гармонии”, роман этот оказывался принудительно связан с поэмами “Россияда” и “Владимир”, причем в обоих случаях “высокие” аспекты русской истории недвусмысленно связывались с самодержавным принципом, который, мы видели, обсуждался в рецензии Карамзина как ключевой для всей идеологической конструкции, выстроенной Херасковым.

В “Россияде”, переизданной Новиковым в 1786 г., благонамеренное решение вопроса о спасительной роли абсолютизма в истории России было выдвинуто уже в программном “Историческом предисловии”, в сжатом виде представлявшем идеологию поэмы: “Сие жалостное и позорное состояние, в которое Россию утеснение от Татар и самовластие оных погрузило; отторжение многих княжеств, прочими соседями у ней похищенных; беспокойство внутренних ее мятежников, вовсе изнуравших свое отечество; сие состояние к совершенному падению ее наклоняло; оно простерлось до времен Царя *ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА* Первого, вдруг возбудившего Россию, уготовавшего оную к самодержавному правлению, смело и бодро свергшего иго Царей Ордынских, и восставившего спокойство в недрах своего государства” [68, с. III].

На этой идеологической основе победа Иоанна IV над Казанью в финале “Россияды” омыслялась как источник дальнейшего процветания России и связывалась с правлением Екатерины II:

Чело ко облакам Россия подняла,
Она с тех дней цвести во славе начала.
И естли кто сие читающий творенье,
Не будет уважать Казани покоренье,
Так слабо я дела Казанския воспел;
Иль сердце хладное читатель мой имел.
Но Муза! общим будь вниманьем ободренна;
ЕКАТЕРИНИНЫМ ты оком озаренна. [68, с. 280].

Вторая поэма, “Владимир”, трижды напечатанная Новиковым — отдельно в 1785 и в 1787 гг. и — с набора второго издания — во втором томе “Эпических творений” Хераскова (см.: [20, т. 3, с. 332–333]), — включает “казанский” эпизод

в концепцию русской истории, внутренним образом которой оказывается “просвещение” князя Владимира и осуществленный им мистический выбор, и завершается “видением”, в котором ему открывается великое будущее России и, в параллель к финалу “Россияды”, вновь возникает тема екатерининского царствования:

О муж, Апостолам в небесном лике равный!
 Не будет никогда забвен твой подвиг славный
 Ты души просветил, неверства прогнал мрак,
 ЕКАТЕРИНОЙ днесь заслуг поставлен в знак;
 Еще и ныне ты от горних мест зриаешь,
 И верность во кресте Россиян озаряешь.
 Ты будешь озарять Российскую страну,
 Доколе видит мир и солнце и луну;
 И слава *дел* твоих не умолчит во веки,
 Доколе Истинне внимают человеки!.. [69, с. 244]¹⁹

Эта переключка финалов двух поэм лишь одна из возможных иллюстраций их идеологического единства, которое было очевидно современникам. В сущности, понимание этого было продемонстрировано самой композицией двухтомника 1786–1787 гг., представившего “Россияду” и “Владимира” как произведения соизмеримые или даже одинаковые по значению (возможно, не без дополнительного расчета на то, что одно из них, “Россияда”, давно снискавшее благоволение власти и общества, сможет “поддержать” литературную и идеологическую “репутацию” другого²⁰). Своего рода кульминацией тенденции к сближению двух поэм стало переиздание “Эпических творений” в 1820 г., в котором, кроме краткой биографии Хераскова и предисловия издателя, была напечатана внушительная подборка посвященных ему стихотворений, один из разделов которой был выразительно озаглавлен “Надписи к портрету творца Россияды и Владимира”; здесь, в частности, была помещена известная надпись И.И. Дмитриева о зоилах Хераскова, который будет спасен от них “Владимиром, Иоанном” [72, ч. 1, с. XV]; ниже, в разделе “Воспоминание о Любимце Муз”, напечаталась пьеса Д.П. Глебова на смерть Хераскова, начинавшаяся словами “Певец Владимира, бессмертной Россияды” [72, ч. 1, с. XVII]. Слова Карамзина о “Кадме”, которому суждено сравняться “с Россиядою и Владимиром”, оказываются в начале формирования

подобных представлений и, насколько можно судить, на него повлияли.

Итак, Карамзин сделал все возможное для того, чтобы роман Хераскова открылся читателям как произведение, достойное их пристального внимания, а властям — как произведение благонамеренное, т.е. базирующееся на идеологии и морали просвещенного абсолютизма, контрреволюционное и при этом выдвигающее тему величия России, обретаемого ею в рамках установившегося образа правления, и комплиментарное по отношению к личности и заслугам Высочайшей Особы.²¹

Оставалось уточнить собственную литературную позицию: решая тактические задачи, Карамзин меньше всего хотел кривить душой. Его главная претензия к Хераскову — антиисторизм, и Карамзин высказывает ее, по-прежнему не отказываясь от комплиментов и прибавляя к ним указания на трудности, с которыми неизбежно должен был столкнуться автор “Кадма и Гармонии”:

“Довольно. Из сих приведенных мест можно видеть, что Кадм есть творение, достойное всего внимания Читателей. Но говорят, что нет сочинения во всем

²¹ В связи с этим не лишним будет заметить, что и “Россияда”, и “Владимир” естественным образом включались в контекст идеологии “Велизария”, причем в некоторых случаях Херасков прибегал к прямому, хотя и, так сказать, незакавыченному цитированию. Ограничимся одним выразительным примером. В I песни “Россияды”, в монологе к царю, читается: “Ты властен все творить, тебе вешает лесть; / Ты раб отечества, вешают долг и честь...” [68, с. 9]. Роман Мармонтеля дает своего рода “расшифровку” этого места: “Обязуюся, должен был он говорить, жить лишь для народа моего; посвящаю покой мой успокоению его; обещаюся давать ему законы полезные и справедливые, не иметь иной воли, как согласной с законами сими. Чем могушественнее он меня сделает, тем менее остануся свободен во мне; чем более он властен мне, тем более себе обяжет меня. Я должен ему отчетом в моих слабостях, в страстях моих и заблуждениях; даю ему право над всем, что есмь <...>. Знаешь ли какую ни есть обязанность и благороднее и совершеннее сего?” [59, с. 100–101]. Именно этот фрагмент, воспринятый в России как отнюдь не тривиальный, остался в русской культурной памяти; ср., напр. в статье кн. П.А. Вяземского о записках графини Жанлис (1826): «Чтобы дать понятие о критике ее, извлечем <...> нечто из критических замечаний ее на *Велизария*, сочинение Мармонтеля, напомнив мимоходом читателю, что и г-жа Жанлис написала своего *Велизария*, который, веря ей, лучшее ее произведение, тогда как *Велисарий* Мармонтеля худшее из его произведений. “Царь должен сказать себе: я обязуюсь жить единственно для народа своего!” (Мармонтель). “Как! нельзя позволить ему пожить немного и для семейства своего!” (замечание г-жи Жанлис). <...> Что за охота теревить прекрасную мысль, чтобы выдернуть из нее мелочное и даже ложное заключение...” [73, т. 1, с. 212–213].

¹⁹ Позднейшая редакция, без Екатерины II, но с Павлом I: [70, т. 2, с. 359–361].

²⁰ О том, что такого рода предусмотрительность, если она действительно имела место, была не лишней, свидетельствуют печальные для московских масонов события 1785–1787 гг., когда ряд книг, в т.ч. изданных Новиковым, были запрещены и изымались властями из продажи [71].

совершенного. <...> Рецензент, читая Кадма, при многих местах думал: *Это слишком отзывается новизной; это противно духу тех времен, из которых взята басня.* Однако ж, вообразя себе всю трудность писать ныне так, как писывали Древние, столь отдаленные от нас по образу жизни, по образу мыслей и чувствований, согласился он сам с собою не почитать сих *знаков новизны* за несовершенство сочинения, имеющего цель моральную” [6, с. 98–99].

Для снисходительности такого рода у Карамзина были все основания: в предисловии к своему роману Херасков сам указывал на эту его особенность, как бы заранее соглашаясь с возможными упреками критиков и, вместе с тем, пытаясь их отвести:

“Предупреждаю моих читателей, что в моем сочинении не всегда я держался Исторической и Географической точности; я последовал в том обыкновенной вольности писателей повествовательных сочинений. Дидона у Виргилия полагается современною Энею, хотя Дидона гораздо прежде Виргилиева Героя существовала; Сезострис во дни Телемака и Фенелона царствует Египтом; но Царь сей за долго до сего времени жил в мире. Впрочем, мое повествование не есть ни история, ни землеописание, следовательно от строгостей летосчисления освобождается” [32, т. 1, с. VII–VIII].

В скобках заметим, что нечто подобное утверждалось и в предисловии к *Россияде*, что, между прочим, еще раз возвращает нас к теме “романа как поэмы”; ср.: “Повествовательное сие творение расположил я на Исторической истинне; сколько мог сыскать печатных и письменных известий, к моему намерению принадлежащих <...>. Но да памятуют мои читатели, что в Епической поэме, верности Исторической, как напротив в летописаниях поемы <так> искать не возможно. Многое отметал я; переносил из одного времени в другое; изобретал; украшал; творил и созидал! <...> Епические поэмы <...> всегда по таковым, как сия, правилам сочиняются” [74, с. VI; ср.: 68, с. VI].

Карамзин хорошо понимает, что проблема не сводится к нарушениям хронологии, а потому, уже отказав себе в праве обвинять создание Хераскова в несовершенстве, вновь напоминает о Фенелоне:

“Кто не знает Телемака Гомерова и Телемака Фенелона? Кто не чувствует великой разности между ими? Возьми какого-нибудь пастуха – Швейцарского или Русского, все одно – одень его в Греческое платье, и назови его сыном Царя Итакского: он будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чадо Фенелона воображения, которое есть ничто иное, как идеальный образ Царевича Французского, ведомого не Греческой Минервою, а Французскою Философиею” [6, с. 99].

Этот пассаж, в принципе, может читаться как направленный против эстетики Хераскова, далекого от последовательного историзма и в предисловии к “Кадму и Гармонии” обосновывавшего эту особенность своей аллегорической прозы, в частности указанием именно на Фенелона [32, т. 1, с. VII–VIII]. Но предъявляя Хераскову свои претензии, Карамзин, во-первых, начинает с “оправдания” Хераскова, добиваясь эффекта сложной двусмысленности: претензии предъявляются – и тут же снимаются как неуместные. Во-вторых, Карамзин объявляет “великую разницу” между Гомером и Фенелоном одновременно принципиальной и общеизвестной – т.е. понятной и самому автору “Кадма и Гармонии”, который сознательно подчинил это свое понимание жанровому заданию своего произведения, обращенному не к истории, а к “цели моральной”. Столь же двусмысленным представляется рискованное упоминание о “царевиче”, “ведомом” “французской философией”. С одной стороны, Карамзин касается здесь той темы влияния “философов” на наследника престола, которая была наиболее важной и болезненной для верховной власти в целом и для Екатерины II в первую очередь: именно связи московских масонов с будущим императором Павлом I рассматривались императрицей как угрожающие созданной ею политической системе. Другое дело, что мы не знаем, что именно им было известно об этих подозрениях властей, и тем более не знаем, что знал о них Карамзин. Но с другой стороны, тема эта оказывалась жестко локализованной в пределах обсуждения политически и идеологически безопасного Фенелона, не имевшего, естественно, никакого отношения ни к французской революции, ни к актуальной политической ситуации в Европе и в России и при этом в контексте русской культуры устойчиво ассоциировавшийся с “Телемахидой” Третьяковского, при екатерининском дворе воспринимавшейся сугубо иронически и вне каких бы то ни было политических “сюжетов”. Разумеется, на безопасного Фенелона и – в полемическом контексте – на Третьяковского как на своего мало удачливого предшественника ссылался и сам Херасков в предисловии к “Кадму и Гармонии” [32, т. 1, с. V–VIII].

Далее Карамзин указывает на некоторую непоследовательность Хераскова в его характеристике Кадма как внутреннего человека, приводит несколько примеров неправильного или непривычного словоупотребления, но затем отказывается обсуждать недостатки, возвращаясь к апологетической оценке романа:

“Но не будем искать бездельных ошибок – если это и подлинно ошибки – в таком сочинении, которое наполнено красотою разного рода. Один Английский Поэт сказал, что погрешности в сочинении подобны соломе, плавающей по верху воды, а красоты перлам, лежащим на дне. И так мало чести приобретет себе тот, кто будет всегда собирать первые” [6, с. 100–101].

Английский поэт, которого цитирует Карамзин, – Джон Драйден (1631–1700), в прологе к трагедии которого “Все за любовь” (“All for Love”, 1677), представляющей собой переложение трагедии Шекспира “Антоний и Клеопатра”, читается: “Errors, like straws, upon the surface flow; / He who would search for pearls, must dive below”²².

В данном случае Карамзин использует отработанный английской журналистикой прием заключать рецензию или статью, содержащую критические замечания, подобного рода цитатами, в т.ч. именно этой цитатой из Драйдена²³, широко известной и вошедшей в соответствующие справочники (см., напр.: [82, с. 108]; [83, с. 228]; иногда эти стихи приписывались Аддисону [84, р. 385], и не случайно: он процитировал их в своем журнале “The Spectator” (1712. № 291. February 2) и тем немало поспособствовал их популярности). По всей вероятности, имени Драйдена Карамзин не упоминает, поскольку считает, что цитирует общеизвестный текст²⁴. Те читатели Карамзина, которые могли разделить с ним это мнение, должны были вспомнить не только о Драйдене (или о Драйдене и Аддисоне), но и о Поупе, для которого Драйден был высоким образцом, как о том свидетельствует хотя бы “Опыт о критике” (1711), вызвавший полемику, но удостоившийся неожиданной поддержки не близкого Поупу Аддисона, где антигероем оказывается невежественный критик, бранящий Драйдена” [23, vol. 2, р. 105, 108, 109]. Именно Драйдену следует Поуп во второй главе поэмы, рассматривая вопрос о мелочных придирках

критика, ср.: “A perfect judge will read each work of wit / With the same spirit that its author writ; / Survey the whole, nor seek slight faults to find / Where Nature moves... <...> Whoever thinks a faultless piece to see, / Thinks what ne'er was, nor is, nor e'er shall be” [23, vol. 2, р. 100–101]²⁵.

Так на уровне системы литературных подтекстов формируется одна из “рамок” конструкции первого номера “Московского журнала”: он открывается цитатой и Поупа, а ближе к концу цитируется Драйден, на которого ориентировался Поуп и на которого, по крайней мере в вопросе о мелочной критике, готов ориентироваться Карамзин-рецензент.

Тут же формируется вторая “рамка”: рецензия заканчивается тем же, с чего начиналась, и роман Хераскова оказывается иллюстрацией к тезису Карамзина о принципиальной соизмеримости поэзии и прозы (“все поэма”), что и фиксируется финальной фразой, которую мы уже обсуждали: “Кадм будет жить с Россиядою и Владимиром”.

* * *

О том, как были восприняты первый номер “Московского журнала” и рецензия на роман Хераскова в том масонском кругу, который осудил литературное начинание Карамзина, мы почти ничего не знаем. Но по крайней мере один документ в нашем распоряжении имеется: это письмо Н.Н. Трубецкого, едва ли не наиболее неприемлемо настроенного к Карамзину и его журнальному проекту, к А.М. Кутузову от 20 февраля 1791 г. В нем читаем: “Касательно до общего нашего приятеля, Карамзина, то мне кажется, что он бабочку ловит и что чужие края, надув его гордостью, соделали, что он теперь никуда не годится. <...> Сочинение ж его никому не полюбилось, да и, правду сказать, полюбится нечему, я пробежал оные и не в состоянии был оных дочитать. Словом, он своим журналом объявил себя в глазах публики дерзновенным, между нами сказать, дураком; <...> быв еще почти ребенок, он дерзнул на предприятие предложить свои сочинения публике, и вздумал, что он уже автор и что он в числе великих писателей в нашем отечестве, а даже осмелился рецензию делать на Кадма; но что касается самого его сочинения, то в оном никакой

²²[75]; [76 (без пагинации)]; [77, р. 17]. Трагедия вошла в основной репертуар англ. театра и до кон. XVIII в. неоднократно перепечатывалась отд. изд. ([78]; [79]; [80] и мн. др.) и в собр. соч. Драйдена, напр.: [81, vol. 4, р. 197].

²³См., напр.: The Gentleman Magazine and Historical Chronicle. London, 1738. V. 8. P. 202; The London Magazine, or Gentleman Monthly Intelligencer. London, 1754. V. 23. P. 408.

²⁴Не решаемся полностью исключить из рассмотрения другую возможную причину: название пьесы Драйдена могло вызвать у иных осведомленных неблагонамеренных остроумцев нежелательные ассоциации с характером литературных отношений Карамзина с Херасковым в это время и вызвать к жизни неуместные, но, быть может, не вполне лишённые оснований умозаключения о том, что лояльность рецензента в какой-то мере обусловлена его заинтересованностью в союзнических отношениях с автором “Кадма и Гармонии”.

²⁵Перевод: “Разумный судья, судить хотя творца, / Сложения его читает с тем же жаром, / С которым тот писал; не тщится в буйстве яром, / Искать злокозненно ошибок мелких там, / Где жизнью дышет все... <...> Кто без погрешностей писанье мнит узреть, / Мнит зреть, что не было, ни есть, ни будет впредь” [85, с. 15–17].

дерзости нет, а есть много глупости и скуки для читателя” [3, с. 94–95].

На первый взгляд, здесь нет ничего неожиданного. Под пером Трубецкого Карамзин предстает кем-то вроде фонвизинского Иванушки, который, побывав в Европе, возгордился, сделался дерзок и остался глуп. Его самомнение нелепо, а сочинения скучны, неумны, неуместны. Но вместе с тем выясняется нечто новое: некоторые опасения Трубецкого отпали, и он, при всей своей предвзятости, за которой, насколько можно судить, скрывалось желание убедить Хераскова дистанцироваться от “Московского журнала”, заявил, что в “самом его сочинении <...> никакой дерзости нет”. Не вполне понятно, о чем именно говорит здесь Трубецкой – в целом о первом номере “Московского журнала” или только о рецензии Карамзина на роман Хераскова (вероятнее последнее: журнал он, как признается, не дочитал). Но во всяком случае ничего специфически антимасонского в прочитанных им текстах Карамзина он не отмечает и, осуждая само его решение писать рецензию на “Кадма и Гармонию”, не находит в ней ничего “дерзкого” по отношению к Хераскову.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Карамзин Н.М. [Об издании “Московского журнала”] // Московские ведомости. 1790. № 89. 6 ноября. С. 5–6. [Karamzin, N.M. *Ob izdanii “Moskovskogo zhurnala”* [On the Publication of the “Moscow Journal”]. *Moskovskie vedomosti*. 1790. № 89. November 6. P. 5–6.]
2. Карамзин Н.М. Смесь к “Московским ведомостям” 1795 года: Отрывки, оригинальные и переводные // Москвитянин. 1854. № 3–4. С. 45–46, 49–64; № 6. С. 13–28; № 7. С. 29–46; № 10. С. 59–74; № 11. С. 111–126; № 12. С. 171–198. [Karamzin, N.M. *Smes' k Moskovskim vedomostyam 1795 goda: Otryvki, original'nyye i perevodnyye* [Mixture to the Moscow Gazette of 1795: Excerpts, Original and Translated]. *Moskvityanin*. 1854. No 3–4, 6, 7, 10, 11, 12.]
3. Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII в.: 1780–1792 гг. Пг., 1915. [Barskov, Ya.L. *Perepiska moskovskikh masonov XVIII veka* [Correspondence of Moscow Masons of the XVIII Century: 1780–1792]. Petrograd, 1915.]
4. Херасков М.М. Время // Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 1. С. 7–9. [Kheraskov, M.M. [Time]. *Moskovskij zhurnal* [Moscow Journal]. 1791. Part 1. Book 1. P. 7–9.]
5. Державин Г.Р. Видение Мурзы // Московский журнал. 1791. Ч. 1. Кн. 1. С. 8–15. [Derzhavin, G.R. [Vision of Murza]. *Moskovskij zhurnal* [Moscow Journal]. 1791. Part 1. Book 1. P. 8–15.]
6. Карамзин Н.М. Кадм и Гармония. Древнее повествование, в двух частях // Московский журнал. 1791. Ч. 1. № 1. С. 81–101. [Karamzin, N.M. [Cadmus and Harmony. An Ancient Narrative, in two Parts]. *Moskovskij zhurnal* [Moscow Journal]. 1791. Part 1. Book 1. P. 81–101.]
7. Херасков М.М. Добродетель // Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. Кн. 1. М., 1796. С. 1–7. [Kheraskov, M.M. [Virtue]. *Aonidy, ili Sobraniye raznykh novykh stikhotvorenyy* [Aonides, or Collection of Different New Poems]. Book 1. Moscow, 1796. P. 1–7.]
8. Херасков М.М. Размышление о Боге // Аониды... Кн. 2. М., 1797. С. 1–14. [Kheraskov, M.M. [Reflection on God]. *Aonidy* [Aonides]... Book 2. Moscow, 1797. P. 1–14.]
9. Капнист В.В. Уныние // Аониды... Кн. 1. М., 1796. С. 8–12. [Kapnist, V.V. [Despondency]. *Aonidy* [Aonides]... Book 1. Moscow, 1796. P. 8–12.]
10. Державин Г.Р. Ода на новый 1797 год // Аониды... Кн. 2. М., 1797. С. 15–24. [Derzhavin, G.R. [Ode to the New Year 1797]. *Aonidy* [Aonides]... Book 2. Moscow, 1797. P. 15–24.]
11. Лонгинов М.Н. Письма Н.М. Карамзина, сообщенные Н.И. Второвым // Библиографические записки. 1858. № 19. Стб. 587–592. [Longinov, M.N. *Pis'ma N.M. Karamzina* [N.M. Karamzin's Letters]. *Bibliograficheskiye zapiski* [Bibliographical notes]. 1858. No 19. Art. 587–592.]
12. Вацууро В.Э. Карамзин возвращается // Литературное обозрение. 1989. № 11. С. 33–39. [Vatsuro, V.E. [Karamzin Comes Back]. *Literaturnoye obozreniye* [Literary Review]. 1989. No 11. P. 33–39.]
13. Погодин М.П. Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии, с примечаниями и объяснениями. Ч. 1–2. М., 1866. [Pogodin, M.P. *Nikolay Mikhailovich Karamzin, po yego sochineniyam, pis'mam i otzuyam sovremennikov* [N.M. Karamzin, According to his Writings, Letters and Reviews of Contemporaries]. Part 1–2. Moscow, 1866.]
14. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. [Vinogradov, V.V. *Problema avtorstva i teoriya stiley* [The Problem of Authorship and Style Theory]. Moscow, 1961.]
15. Кочеткова Н.Д. Два издания “Московского журнала” Н.М. Карамзина // XVIII век. Сб. 19. СПб., 1995. С. 168–182. [Kochetkova, N.D. [Two Editions of the “Moscow Journal” by N.M. Karamzin]. *XVIII vek* [XVIII Century]. Collection 19. St. Petersburg, 1995. P. 168–182.]
16. Кочеткова Н.Д. Херасков в “Московском журнале” Карамзина // Русская литература. 2006. № 4. С. 161–165. [Kochetkova, N.D. [Kheraskov in “Moscow Journal” of Karamzin]. *Russkaya literatura* [Russian Literature]. 2006. No 4. P. 161–165.]
17. Фомин А.Г. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров: Новые данные о них по документам архива П.Н. Тургенева // Русский библиофил. 1912. № 1. С. 7–39. [Fomin, A.G. [Andrei Ivanovich

- Turgenev and Andrei Sergeevich Kaisarov]. *Russkiy bibliofil* [Russian Bibliophile]. 1912. No 1. P. 7–39.]
18. Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением Семейной хроники. М., 1858. [Aksakov, S.T. *Detskiye gody Bagrova-vnuka* [Childhood Years Bagrov-Grandson]. Moscow, 1858.]
 19. The Guardian. 1713. No 6. March 18.
 20. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725–1800. Т. 1–5. М., 1961–1967. [Svodnyy katalog russkoy knigi grazhdanskoй pečati XVIII veka [Consolidated Catalog of the Russian Civil Book of the XVIII Century: 1725–1800]. Vol. 1–5. Moscow, 1961–1967.]
 21. Карамзин Н.М. Письма Русского Путешественника. Ч. 1–6. М., 1797–1801. [Karamzin, N.M. *Pis'ma Russkogo Puteshestvennika* [Letters from the Russian Traveler]. Part 1–6. Moscow, 1797–1801.]
 22. Лыжин Н.П. Альбом Н.М. Карамзина // Летописи русской литературы и древности. Т. 1. М., 1859. С. 161–192. [Lyzhin, N.P. [N.M. Karamzin's Album]. *Letopisi russkoy literatury i drevnosti* [Chronicles of Russian Literature and Antiquity]. Vol. 1. Moscow, 1859. P. 161–192.]
 23. The Poetical Works of Alexander Pope, with his last corrections, additions, and improvements: In four volumes: From the Text of Dr. Warburton: With the Life of the Author. London. 1787.
 24. Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о Российских Писателях. СПб., 1772. [Novikov, N.I. *Opyt istoricheskogo slovaryа o rossiyskikh pisatelyakh* [The Experience of the Historical Dictionary of Russian Writers]. St. Petersburg, 1772.]
 25. [Поуп А.] Опыт о человеке / господина Попе: Переведено с франц. яз. <...> Николаем Поповским 1754 года. Изд. 2-е. М., 1787. [Pope, A. *Opyt o cheloveke...* [Experience of the Man: Translated from the French Language... by N. Popovsky 1754]. Edition 2. Moscow, 1787.]
 26. Галахов А.Д. Карамзин как оптимист: (К.Д. Кавелину) // Отечественные записки. 1858. Т. 116. № 1. Отд. 1. С. 107–146. [Galakhov, A.D. [Karamzin as an Optimist: (to K.D. Kavelin)]. *Otechestvennyye zapiski*. 1858. T. 116. No 1. Dep. 1. P. 107–146.]
 27. Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. [Berkov, P.N. *Istoriya russkoy zhurnalistiki XVIII veka* [The History of Russian Journalism of the XVIII Century]. Moscow; Leningrad, 1952.]
 28. Карамзин Н.М. Письма к И.И. Дмитриеву / По поручению ОРЯС Имп. Акад. наук издали с примеч. и указателем Я. Грот и П. Пекарский. СПб., 1866. [Karamzin, N.M. *Pis'ma k I.I. Dmitriyevu* [Letters to I.I. Dmitriev]. St. Petersburg, 1866.]
 29. [Баттё Ш.] Начальные правила словесности / Перевел с франц. и прибавлениями умножил <...> Дмитрий Облеухов. Т. 1–4. М., 1806–1807. [Batteux, Ch. *Nachal'nyye pravila slovesnosti* [Initial Rules of Literature: Transl. from French and Added to the Multiplication of <...> Dmitry Obleukhov]. T. 1–4. Moscow, 1806–1807.]
 30. [Роллен Ш.] Способ, которым можно учить и обучаться словесным наукам / С франц. <...> переведен Иваном Крюковым. Вторым тиснением. Ч. 1–8. СПб., 1789. [Rollin, Ch. *Sposob, kotorym mozjno učit' i obuchat'sya slovesnym naukam...* [The Way that You Can Learn and Learn the Verbal Sciences: Transl. from French... by Ivan Kryukov]. The Second Embossed. Part 1–8. St. Petersburg, 1789.]
 31. [Роллен Ш.] Древняя история об Египтянах, о Карфагенянах, об Ассирианах, о Вавилонянах, о Мидянах, Персах, о Македонянах и о Греках / С франц. переведенная чрез Василья Тредиаковского. Т. 1–10. СПб., 1749–1762. [Rollin, Ch. *Drevnyaya istoriya...* [The Ancient History of the Egyptians, the Carthaginians, the Assyrians, the Babylonians, the Medes, the Persians, the Macedonians and the Greeks: From the French transl. through Vasily Trediakovsky]. St. Petersburg, 1749–1762.]
 32. [Херасков М.М.] Кадм и Гармония: Древнее повествование. Ч. 1–2. М., 1789. [Kheraskov, M.M. *Kadm i Garmoniya: Drevneye povestvovaniye* [Cadmus and Harmony: Ancient Narrative]. Parts 1–2. Moscow, 1789.]
 33. Тредиаковский В.К. Тилемахида, или Странствование Тилемаха, сына Одиссея, описанное в составе ироическия пиимы... Т. 1–2. СПб., 1766. [Trediakovskij, V.K. *Tilemakhida, ili Stranstvovaniye Tilemakha, syna Odiseyeva* [Tilemahid or Traveling of Thilemachus, Son of Odysseus]... Parts 1–2. St. Petersburg, 1766.]
 34. Николев Н.П. Творении. Ч. 1–5. М., 1795–1798. [Nikolev, N.P. *Tvorenii* [Works]. Part 1–5. Moscow, 1795–1798.]
 35. Клушин А.И. Прогулки // Зритель. 1792. Ч. 2. Июнь. С. 154–169. [Klushin, A.I. [Walking]. *Zritel'* [Spectator]. 1792. Part 2. June. P. 154–169.]
 36. Николев Н.П. Лирическое послание Ее Сиятельству Княгине Екатерине Романовне Дашковой // Новые ежемесячные сочинения. 1791. Ч. 60. Июнь. С. 3–39. [Nikolev, N.P. [A Lyric Message to Her Excellency Princess Ekaterina Romanovna Dashkova]. *Novyye yezhemesyachnyye sochineniya* [New Monthly Works]. 1791. Part 60. June. P. 3–39.]
 37. [Писарев А.А.] Рассмотрение всех рецензий, помещенных в ежемесячном издании под названием: *Московской журнал*, изданный на 1797 и 1799 год Н.М. Карамзиным // Северный вестник. 1804. Ч. 3. № 8. С. 141–158. [Pisarev, A.A. *Rassmotreniye vsekh retsenziy. pomeshchennykh v yezhemesyachnom izdanii pod nazvaniyem: Moskovskoy zhurnal...* [Review of All Reviews. Placed in a Monthly Publication Titled: Moscow Journal, Published in 1797 and 1799 by N.M. Karamzin]. *Severnuy vestnik* [The Northern Herald]. 1804. Part 3. No 8. P. 141–158.]
 38. Сиповский В.В. Из истории русского романа и повести: (Материалы по библиографии, истории

- и теории русского романа): Ч. 1: XVIII век. СПб., 1903. [Sipovskiy, V.V. *Iz istorii russkogo romana i povesti* [From the History of the Russian Novel and the Story]. *Chast' 1: XVIII vek* [Part 1: XVIII Century]. St. Petersburg, 1903.]
39. [Белинский В.Г.] Сочинения Александра Пушкина. Статья первая: Обзорение русской литературы от Державина до Пушкина // Отечественные записки. 1843. Т. 28. № 6. Отд. 5. С. 19–42. [Belinsky, V.G. [Works by Alexander Pushkin. Article One: Review of Russian Literature from Derzhavin to Pushkin]. *Otechestvennyye zapiski*. 1843. T. 28. No 6. Dep. 5. P. 19–42.]
40. Морозова Н.П. Книга из библиотеки Гоголей: (К вопросу об употреблении термина *поэма* в русской литературе) // XVIII век. Сб. 16. Л., 1989. С. 251–255. [Morozova, N.P. [A Book from Gogol's Library: (On the Use of the Term Poem in Russian Literature)]. *XVIII vek* [XVIII Century]. Collection 16. Leningrad, 1989. P. 251–255.]
41. О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода к всеобщему началу знания... / Переведено с франц. изданием Типографической Компании. М., 1785. [*O zabluzhdeniyakh i istine...* [About Delusions and Truth... Translated from the French Dependency of the Printing Company]. Moscow, 1785.]
42. Лопухин И.В. Записки / С предисл. Искандера <А.И. Герцена>. Лондон, 1860. [Lopukhin, I.V. *Zapiski* [Notes]. London, 1860.]
43. Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867. [Longinov, M.N. *Novikov i moskovskiy martinisty* [Novikov and the Moscow Martinists]. Moscow, 1867.]
44. Ешевский С.В. Сочинения. Т. 1–3. М., 1870 [Yeshevskiy, S.V. *Sochineniya* [Works]. Part 1–3. Moscow, 1870.]
45. Пыпин А.Н. Русское масонство: XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916. [Pypin, A.N. *Russkoye masonstvo: XVIII i pervaya chetvert' XIX v.* [Russian Freemasonry: XVIII and the First Quarter of the XIX Century]. Perograd, 1916.]
46. Лотман Ю.М. Черты реальной политики в позиции Н.М. Карамзина 1790-х гг. (к генезису исторической концепции Карамзина) [Lotman, Yu.M. [Features of Real Politics in the Position of N.M. Karamzin in the 1790s]. *XVIII vek* [XVIII century]. Collection 13. Leningrad, 1981. P. 102–131.]
47. Письмо к барону Г*** // Магазин свободно-каменщический. 1784. № 1. С. 27–60. [Pis'mo k baronu G*** [Letter to the Baron G***]. *Magazin svobodno-kamenshchicheskiy* [The Store is Free-masonry]. 1784. No 1. P. 27–60.]
48. [Муравьев М.Н.] Дщицы для записывания // Утренний свет. 1778. Ч. 4. С. 368–378. [[Murav'yev, M.N. [Shadow for writing down]. *Utrenniy svet* [Morning light]. 1778. Part 4. P. 368–378.]
49. Кочеткова Н.Д. Отзывы о Ломоносове в “Собеседнике любителей российского слова” // Литературное творчество М.В. Ломоносова: Исследования и материалы. М.; Л., 1962. С. 270–281. [Kochetkova, N.D. [Reviews about Lomonosov in the “Interlocutor of the Lovers of the Russian Word”]. *Literaturnoye tvorchestvo M.V. Lomonosova* [Literary Creativity of M.V. Lomonosov]. Moscow, Leningrad, 1962. P. 270–281.]
50. Лотман Ю.М. Историко-литературные заметки // Учен. записки Тартуского гос. ун-та: Вып. 209: Тр. по рус. и слав. филологии: [Т.] 9: Литературоведение. Тарту, 1968. С. 358–365. [Lotman, Yu.M. [Historical and Literary Notes]. *Uchenyye zapiski Tartuskogo gos. un-ta. Вып. 209* [Bulletin of the Tartu State University. Iss. 9]. P. 358–365.]
51. [Державин Г.Р.] Прогулка в Сарском Селе // Московский журнал. 1791. Ч. 3. Кн. 2. Август. С. 125–127. [Derzhavin, G.R. [A Walk in the Sarskoye Selo]. *Moskovskiy zhurnal* [Moscow Journal]. 1791. Part 3. Book 2. August. P. 125–127.]
52. Державин Г.Р. Сочинения / С объяснительными примеч. Я. Грота. Т. 1–9. СПб., 1864–1883. [Derzhavin, G.R. *Sochineniya* [Works]. T. 1–9. St. Petersburg, 1864–1883.]
53. [Карамзин Н.М.] Неистовый Роланд, героическая поэма г. Ариоста. Переведена с французского. Книга первая. В Москве, в вольной типографии г. Пономарева, 1791 // Московский журнал. 1791. Ч. 2. Кн. 3. Июнь. С. 322–325. [Karamzin, N.M. [Furious Roland, the Heroic Poem of Ariost. Translated from French]. *Moskovskiy zhurnal* [Moscow Journal]. 1791. Part 2. Book 3. June. P. 322–325.]
54. Боголюбов В.М. Н.И. Новиков и его время. М., 1916. [Bogolyubov, V.M. *N.I. Novikov i yego vremya* [N.I. Novikov and His Time]. Moscow, 1916.]
55. Отрывок из рукописи Карамзина: О древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношениях: (До смерти Екатерины II) // Современник. 1837. Т 5. С. 89–112. [Otryvok iz rukopisi Karamzina: O drevney i novoy Rossii, v yeye politicheskom i grazhdanskom otноsheniyakh: (Do smerti Yekateriny II) [Excerpt from the Karamzin Manuscript: On the Ancient and New Russia, in its Political and Civil Relations: (Before the Death of Catherine II)]. *Sovremennik* [Contemporary]. 1837. T. 5. P. 89–112.]
56. Мармонтель Ж.-Ф. Велизер / Переведен на Волге. [М.] 1768. [Marmontel, J.-F. *Velizer. Pereveden na Volge* [Translated to the Volga]. Moscow, 1768.]
57. Кульматова Т.В. Экземпляр книги “Велизер” Ж.-Ф. Мармонтеля из академического собрания БАН // Деятели книги: Михаил Николаевич Куфаев (1888–1948): сб. науч. тр. по материалам 15-х Смирдинских чтений. СПб., 2010. С. 165–175. [Kul'matova, T.V. [A Copy of the Book “Velizer” of J.-F. Marmontel from the Academic Meeting of the BAN]. *Deyateli knigi* [Book Writers]: *Mikhail Nikolayevich Kufayev (1888–1948)*. St. Petersburg, 2010. P. 165–175.]
58. Мармонтель Ж.-Ф. Велизер / Переведен на Волге. 2-м тиснением. СПб., 1773. [Marmontel, J.-F. *Velizer*.

- Pereveden na Volge* [Transl. to the Volga]. Ed. 2. Moscow, 1763.]
59. *Мармонтель Ж.-Ф.* Велизер / Переведен на Волге. 3-м тиснением: Иждивением Типографической Компании. М., 1785. [Marmontel, J.-F. *Velizer. Pereveden na Volge* [Translated to the Volga]. Ed. 3. Moscow, 1785.]
60. [Новиков Н.И.] Санктпетербург // Санктпетербургские ученые ведомости на 1777 год. № 11. С. 81–88. [Novikov, N.I. [St. Petersburg]. *Sanktpeterburgskiyе uchenyye vedomosti* [St. Petersburg Scientists]. 1777. No 11. P. 81–88.]
61. *Кафанова О.Б.* Н.М. Карамзин – переводчик Мармонтеля // Проблемы метода и жанра: Вып. 6. Томск, 1979. С. 157–176. [Kafanova, O.B. *N.M. [N.M. Karamzin – Translator of Marmontel]. Problemy metoda i zhanra* [Problems of Method and Genre]. Issue 6. Tomsk, 1979. P. 157–176.]
62. *Кафанова О.Б.* Библиография переводов Н.М. Карамзина (1783–1800 гг.) // XVIII век. Сб. 16. Л., 1989. С. 319–337. [Kafanova, O.B. [Translation Bibliography of N.M. Karamzin]. *XVIII vek* [XVIII Century]. Collection 16. Leningrad, 1989. P. 319–337.]
63. *Kafanova, Olga.* N.M. Karamzin traducteur et interprète des Contes moraux de J.-F. Marmontel et de S.F. de Genlis // *Revue des études slaves*. Т. 74. F. 4. 2002. P. 741–757.
64. *Мартынов И.Ф.* Книгоиздатель Николай Новиков. М., 1981. [Martynov, I.F. *Knigoizdatel' Nikolay Novikov* [The Book Publisher is Nikolai Novikov]. Moscow, 1981.]
65. *Карамзин Н.М.* К бедному поэту // Аониды... Кн. 2. М., 1797. С. 35–42. [Karamzin, N.M. [To the Poor Poet]. *Aonidy* [Aonides]... Book 2. Moscow, 1797. P. 35–42.]
66. *Карамзин Н.М.* Нечто о Науках, Искусствах и Просвещении // Аглая. Издание второе. Кн. 1. М., 1796. С. 33–76. [Karamzin, N.M. [Something about Sciences, Arts and Enlightenment]. *Aglaya. Izdaniye vtoroye* [Second Edition]. Book 1. Moscow, 1796. P. 33–76.]
67. *Фенелон Ф.* Похождение Телемаково, сына Улисса / Переведено на Русский язык в 1734 году. Напечатано третьим тиснением. Ч. 1–2. СПб., 1782. [Fenelon, F. *Pokhozhdeniye Telemekovo, syna Ulissova* [The Adventure of Telemak's, Son Ulysses]. Part 1–2. St. Petersburg. 1782.]
68. [Херасков М.М.] Россияда, поэма эпическая. Изд. 2-е, испр., пересмотр. и доп. М., 1786. [Kheraskov, M.M. *Rossiyada, poema epicheskaya* [Rossiyada, Epic Poem]. Ed. 2. Moscow, 1786.]
69. *Херасков М.М.* Эпические творения. Изд. 2-е, испр., пересмотр. и доп. Ч. 1–2. М., 1786–1787. [Kheraskov, M.M. *Epicheskiye tvoreniya* [Epic Works]. Ed. 2. Part 1–2. Moscow, 1786–1787.]
70. *Херасков М.М.* Творения, вновь испр. и доп. Ч. 1–12. М., 1796–1803. [Kheraskov, M.M. *Tvoreniya* [Works]. Part 1–12. Moscow, 1796–1803.]
71. *Западов В.А.* К истории правительственных преследований Н.И. Новикова // XVIII век. Сб. 11. Л., 1976. С. 37–48. [Zapadov V.A. [To the History of Government Persecution of N.I. Novikov]. *XVIII vek* [XVIII century]. Collection 11. Leningrad, 1976. P. 37–48.]
72. *Херасков М.М.* Эпические творения. Ч. 1–2. М., 1820 [Kheraskov, M.M. *Epicheskiye tvoreniya* [Epic Works]. Part 1–2. Moscow, 1820.]
73. *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. Т. 1–12. СПб., 1878–1896. [Vyazemskiy, P.A. *Poln. sobr. soch* [Complete Works]. Т. 1–12. St. Petersburg, 1878–1897.]
74. [Херасков М.М.] Россияда: Ироическая поэма. М., 1779. [Kheraskov, M.M. *Rossiyada: Iroicheskaya poema* [Heroic Poem]. Moscow, 1779.]
75. *Dryden Jh.* All for Love, or The World Well Lost. A Tragedy. As it is Acted at the Theatre-Royal. And Written in Imitation of *Sakespear's* Style. In the Savor, 1692.
76. *Dryden Jh.* All for Love, or The World Well Lost. A Tragedy. London, 1696.
77. *Dryden Jh.* All for Love... London, 1710.
78. *Dryden Jh.* All for Love... London, 1740.
79. *Dryden Jh.* All for Love... Edinburgh, 1768.
80. *Dryden Jh.* All for Love... London, 1778.
81. *Dryden Jh.* The Dramatic Works. Vol. 1–6. London, 1735.
82. *Grocott J.C.* An Index to Familiar Quotations selected from British Authors with parallel passages from various Writers Ancient and Modern. Liverpool, 1863.
83. *Bartlett, John.* Familiar Quotations being an Attempt to trace in their Sources: Passages and Phrases in common use. Eight edition. Boston, 1890.
84. *Edwards, Tryon.* Pearls; or The World's Laconics: Being choice Thoughts of the best Authors, in Prose and Poetry. Boston, 1872.
85. [Поуп А.] Опыт о Критике: Поэма в трех песнях / С англ. яз. перевел князь Сергей Шихматов. СПб., 1806. [Pope, A. *Opyt o Kritike*... [The Experience of Criticism. Prince Sergiy Shikhmatov Translated from the English Language]. St. Petersburg, 1806.]